Руди Келлер

Языковые изменения

Издательство Самарского государственного
педагогического университета

Rudi Keller

Sprachwandel

Von der unsichtbaren Hand in der Sprache

Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage

Francke Verlag Tübingen und Basel

Руди Келлер

Языковые изменения

О невидимой руке в языке

Издание второе, переработанное и расширенное

Перевод с немецкого и вступительная статья

О.А. Костровой

Самара 1997

ББК 81.81.2 Нем
К

Печатается по постановлению Ученого Совета
Самарского педагогического университета

Издание осуществлено при финансовой поддержке Inter Nationes, Бонн,
и благодаря пожертвованию Петра Петровича Генрихса
Die Herausgabe dieses Werkes wurde aus Mitteln von INTER NATIONES, Bonn, gefördert, sowie durch die Spende von Peter Heinrichs

Келлер Р.

Языковые изменения. О невидимой руке в языке. / Пер. с нем. и вступ. ст. О.А. Костровой. Самара: издательство СамГПУ, 1997.- С. 312

Автор книги — профессор германистики Дюссельдорфского университета Руди Келлер, наш современник (год рождения 1942). Книга дважды издана в ФРГ (1990 и 1994 г.г.), выдержала два издания в Великобритании (в английском переводе) и одно в Корее (на корейском языке). Издание книги на русском языке дает возможность широкому кругу читателей познакомиться с одной из современных моделей общественного развития, представленной на модели развития языка.

Книга заинтересует специалистов разных областей знания — лингвистов, философов, экономистов, социологов, правоведов и историков.

ISBN 3-8252-1567-9 (UTB-Bestellnummer)
ISBN 5-8428-0091-8

Более важно то, что предложение интересно, чем то, что оно верно. Но, разумеется, более вероятно, что интересным будет скорее верное, чем неверное предложение.

(Уайтхед , 1933, с. 313)

Содержание

Выбор
как причина языковых изменений

Перед читателем необычная книга. Необычная как по форме, так и по содержанию. Работая над ее переводом, я не уставала удивляться эрудиции автора, его умению привести доходчивый пример, показать практическую значимость абстрактной теории. Стиль книги я бы определила в целом как научно-демократический, сочетающий точность и последовательность, а в некоторых случаях и дотошность описания, с занимательностью и доступностью изложения. Это не популяризация научного знания, а его добывание вместе с читателем.

На содержании хотелось бы остановиться поподробнее, особенно на тех идеях, которые представляются мне в той или иной степени новыми или необычными для читателя в России.

Руди Келлер моделирует историю немецкого языка как часть истории общечеловеческой цивилизации, причем понимает развитие языка как своего рода “чистый” образец общественного развития. “Чистый” — в смысле неотягощенный материальными выгодами. По сути дела, книга представляет модель развития общества, редуцированную до модели развития языка. Еще несколько лет назад саму эту мысль вряд ли кто в России осмелился бы высказать. Ведь она ставит под сомнение тезис “Бытие определяет сознание”! Не буду здесь приводить оправдательные аргументы, Руди Келлер делает это лучше меня. Скажу только, что, на мой взгляд, в книге представлен более гибкий подход, чем тот, который был долгое время принят в России.

Автор не принимает на веру никаких догм, устоявшихся мнений, а пытается, и не безуспешно, дать им свое объяснение, чтобы или принять, или отвергнуть их. Он выстраивает, например, предположительную историю происхождения языка, которая также не стыкуется с общепринятой у нас теорией Ф. Энгельса. История изложена в форме сказки и моделирует процесс,

который, по всей видимости, вряд ли удастся реконструировать в принятом смысле. История языка реконструируется как предположение о том, как могло произойти, что люди, вернее обезьяноподобные существа, вдруг заговорили. Ф. Энгельс тоже, собственно, предполагает, что язык возник как реализация возникшей потребности что-то сказать друг другу в процессе труда[I]. Руди Келлер моделирует ту же самую историю по-другому: язык появился, согласно его предположениям, когда возникла потребность обмануть соплеменников, чтобы самому получить лакомые куски пищи. Как считает Р. Келлер, именно так голосовой сигнал был впервые применен с целью воздействия, то есть в качестве языкового средства. Разумеется, подобная интерпретация истории человечества нелицеприятна. Но, может быть, она более реально представляет переход от животного состояния к человеческому, показывая механизм внезапного "поумнения" обезьяноподобного существа, которое вдруг поняло, что вместе работать легче?

Из реконструкции предполагаемой истории языка, предпринятой Р. Келлером, вытекает примечательный феномен редукции теоретического знания: основная функция языка определяется как функция воздействия. Для отечественного языкознания эта мысль, строго говоря, не нова. Так Ф.Ф. Фортунатов пишет о трех видах побуждений, которые заставляют нас обнаруживать, выражать для другого лица нашу мысль. Он относит к ним, во-первых, "намерение передать свою мысль другому лицу, вызвать в нем соответствующую мысль , во-вторых, намерение повлиять на волю другого лица, то есть намерение выразить известное чувствование, именно желание побудить другое лицо к известному действию и, в-третьих, намерение выразить, обнаружить другие чувствования (...), соединяющие с мыслью говорящего"[I]. Подчеркнутые мной выражения наводят на мысль,

[I] Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. — М.: Изд-во полит. лит., 1984. — С. 7.

[I] Фортунатов Ф.Ф. Язык в процессе мышления и в процессе речи // Избранные труды. Т. 1. — М., 1956. — С. 128.

что во всех трех случаях автор имеет в виду функцию воздействия. Размышления Ф.Ф. Фортунатова не прошли незамеченными; более того, они получили блестящее развитие в теории психолингвистики. В этой связи достаточно назвать имя Л.С. Выготского[II]. Однако эта область исследования стоит в отечественном языкознании несколько особняком.

Что же касается определения функций языка в общем языкознании, то, как правило, выделяются сразу несколько взаимосвязанных функций. В связи с тезисом о первичности материи и вторичности сознания разрабатывается функция отражения[III]. Рассматривается диалектическое единство номинативной и коммуникативной функций[IV]. Многих авторов привлекает язык как системно-структурное образование[V]. Аспект изучения языка в плане воздействия остается по-прежнему достаточно специфическим, составляя предмет психолингвистики и теории речевой коммуникации. При этом воздействие рассматривается как проблема р е ч и , регулирующей поведение объекта воздействия непосредственно в акте общения и в последующей деятельности[I]. Реально учитывая диалектическую взаимосвязь языка с речевой деятельностью, Р. Келлер считает воздействие функцией естественного я з ы к а - для него это один из осново-

---

[II] Ср, например: Выготский Л.С. Мышление и речь // Избранные психологические исследования. — М.: АПН РСФСР, 1956. — С. 39 — 386.

[III] Мигирин В.Н. Язык как система категорий отображения. — Кишинев: Штиинца, 1973. — 237 с.; Кодухов В.И. Общее языкознание. — М.: Высшая школа, 1979. — С. 162 и далее.

[IV] Общее языкознание: Внутренняя структура языка. — М.: Наука, 1972. — С. 302.

[V] Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. — М.: Недра, 1977. — С. 341 и далее.

[I] Тарасов Е.Ф. Речевое воздействие: психологические и психолингвистические аспекты // Материалы VIII Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации: Тез. докл. — М.: Ин-т яз-я АН СССР, 1985. — С. 19.

полагающих тезисов[II]. Тем самым в центр внимания лингвистики выдвигается прагматика — часть науки о языке, которая до сих пор воспринимается подчас как прикладная и даже граничащая с экзотикой. Р. Келлер, однако, убеждает, что она имеет отнюдь не прикладной характер, поскольку является (в редукционалистском смысле) движущей силой языковых изменений. В этом, на мой взгляд, заключается основное достоинство книги.

В отечественной традиции языковым изменениям уделяется достаточно много внимания. Мы воспитаны на диалектике языка. Вспомним знаменитое бодуэновское "Нет неподвижности в языке!". В то же время Бодуэн признает, что законы жизни языка еще не открыты, хотя и называет причину всех языковых изменений. Он видит ее тоже в прагматике, понимая ее, однако, как стремление к удобству, к облегчению в трех областях языковой деятельности: в области произношения (фонации), в области слушания (аудиции) и в области мышления (церебрации)[III]. Это один из типичных взглядов на причину языковых изменений.

Другой состоит в том, что толчком к существенным изменениям в языке вообще служит язык детей[IV]. Детской речи, несомненно, свойственно словотворчество. Однако вряд ли можно серьезно думать о том, что все языковые процессы происходят от ошибок в речи детей. Общепризнанный взгляд на причину языковых изменений: в рамках проблематики "Язык и общество" следует учитывать так называемые экстралингвистические факторы. Языковые изменения являются результатом непрерывной подстройки языковой системы ко все обновляющимся задачам общения[I]. Р. Келлер конкретизирует этот тезис.

[II] Keller R. Sprachwandel: 2. Auflage. — Tübingen und Basel: Franke Verlag, 1994. — S. 208.

[III] Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. — М.: АН СССР, 1963. — Т. I, с. 348.

[IV] Там же, С. 350.

[I] Ср., например, Супрун А.Е. Лекции по языковедению. — Минск: БГУ, 1978. — С. 95.

Языковые процессы представлены в книге как процессы неосознаваемого, почти интуитивного выбора, направляемого невидимой рукой. Метафора английского экономиста Адама Смита о невидимой руке приобретает осязаемые контуры. Р. Келлер выделяет особую ступень накопления информации, служащую своеобразным переходом от индивидуумов-носителей языка к самому языку. Эта ступень, как правило, не осознается говорящими, потому и попадает в сферу действия невидимой руки. Она включает в себя как позитивные процессы поддержания системы, так и процессы забывания определенных единиц языка. И тот, и другой процесс включает стадию ненаучения определенным единицам подрастающего поколения. Данная стадия языкового развития является переходной и не имеет строгой письменной фиксации, однако она несомненно существует. Выделение этой стадии, которую Р. Келлер называет фазой кумуляции, материализует неуловимость и вместе с тем неизбежность возникновения качественного скачка — языкового или иного изменения.

Материальность, осязаемость языковых изменений Р. Келлер представляет, анализируя ступени опосредования при выборе языковых структур. По мнению Р. Келлера, выбор опосредуется широко понимаемыми экологическими условиями (индивидуальная компетенция говорящего + социальные, материальные, биологические данности), а также направленными речевыми действиями говорящих. Это то, что вливается в накопительный процесс, регулирующий статику и динамику языка.

Понятие "экологические условия" выбора представляется особенно продуктивным. Оно показывает неразрывную и в то же время гибкую связь говорящего со средой. В отечественной германистике наиболее близко ему, на мой взгляд, понятие лингвооперативной ситуации, введенное В.А. Жеребковым. Совокупность таких ситуаций образует лингвооперативный регистр, который представляет собой одну из основополагающих уни-

версалий, обеспечивающих функционирование языка[I]. Модель В.А. Жеребкова позволяет объяснить варьирование языковых средств в рамках коммуникативных регистров; в частности статистическая обработка данных по употребительности подчинительных союзов в современном немецком языке недвусмысленно показывает, что эти союзы определенным образом распределяются по коммуникативным регистрам или видам речи. Так, из всех подчинительных союзов обстоятельственной семантики в объективированном типе текста (возникающем в дисситуативном регистре) абсолютно преобладают временные (81,6 %), а в персонализированном типе текста (возникающем в ситуации непосредственного общения или при ее моделировании) — союзы причинной семантики (82,8 %)[II]. Таким образом, невидимая рука управляет и избирательностью функционирования! Именно поэтому закономерности выбора и не бросаются в глаза, а выявляются только с помощью специального анализа.

Введение в число экологических условий биологического фактора позволяет объяснить, например, специфику выбора языковых структур в определенном возрасте, в частности в детской речи и в языке молодежи. В этих случаях, видимо, имеет место психологически обусловленное варьирование индивидуальной компетенции, которая проходит определенные стадии развития. Причем ее особенности на данных стадиях довольно четко просматриваются, что, собственно, и привело к выделению самих понятий детской речи или языка молодежи. Биологические факторы играют не последнюю роль и в различении женского и мужского языка, которое в последнее время также привлекает внимание лингвистов, однако, рассматриваются эти

[I] Žerebkov V.A. Deutsche Stilgrammatik. — Москва: Высшая школа, 1988. — С. 70 и далее.

[II] Кострова О.А. Продолженная синтаксическая форма как промежуточное звено между простым предложением и сверхфразовым единством: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. — М.: АН СССР, 1991. — С 5.

факторы, как и возрастное варьирование, скорее в рамках социолектов[I].

Не следует думать, что Р. Келлер преувеличивает роль собственно биологических факторов. Напротив, в дискуссии против социал-дарвинизма он, вслед за Р. Докинсом, выделяет из чисто биологического понятия гена культурно-генетическое понятие мемы, то есть единицы памяти, формирующей мемофонд человека. Единицы языка также относятся к мемам, образуя специфическое культурно-генетическое пространство. Гипотезу о существовании такого пространства, или культурогенетики, высказывает и Ю.А. Сорокин[II]. В работе Р. Келлера культурогенетика принимает осязаемые контуры. Анализируя сходство и различие между генами и мемами, Р. Келлер видит основную особенность последних в том, что человек может распоряжаться ими по своему усмотрению. В социолингвистике существует в связи с этим понятие переключения кодов, предполагающее использование одним человеком в зависимости от условий разных вариантов языка[I]. С другой стороны, понятие мемофонда перекликается с понятием “национально-культурная специфика языка” и в этом смысле представляет, как мне кажется, необозримое поле деятельности для лингвистов.

Таким образом, книга Р. Келлера дает широкое понимание языковых изменений, включая не только диахроническое, социальное, но и культурно-биологическое варьирование. Это, в свою очередь, позволяет по-новому осмыслить введенное Н. Хомским понятие “индивидуальная компетенция” — понятие, тоже вовсе не чуждое отечественной филологии. Достаточно сослаться на высказывание А.А. Потебни: “...язык открылся пер-

[I] Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. — М.: Просвещение, 1987. — С. 66-67; V.A. Žerebkov. Cit. op.

[II] Сорокин Ю.А. Этническая конфликтология. (Теоретические и экспериментальные фрагменты). — Самара: Русский лицей, 1994. — С. 73.

[I] Ср. Žerebkov V.A. Cit. op., S. 84-87.

вым людям посредством собственной их природы”[II]. Следовательно, уже А.А. Потебня предполагал, что человек по природе своей устроен так, что способен к языку. Тем не менее тезис Н. Хомского о врожденности языковой способности и близкое ему понятие индивидуальной компетенции признавались в России лишь немногими[III]. Р. Келлер обогащает понятие индивидуальной компетенции, включая в него предположение об индивидуальной компетенции партнера. Тем самым в понятие индивидуальной компетенции включается обратная связь — необходимый компонент теории информации, который до сих пор практически не учитывается в теории речевой коммуникации или учитывается слишком абстрактно.

В ряду экологических условий понятие “обратная связь” является, по-видимому, ключевым и способствует обогащению знаковой модели языка, придавая ей необходимую гибкость и подвижность, углубляет и насыщает компоненты так называемого знакового треугольника. В классической модели этого треугольника, которая принадлежит Чарльзу Пирсу, знак, как самостоятельный семантический объект, соотносим с другими знаками в системе, с обозначаемым объектом и с интерпретатором[I]. Схема Пирса логически безупречна, но довольно абстрактна. Карл Бюлер расширяет сферу интерпретатора, который из абстрактного превращается в конкретных отправителя и получателя информации[II]. В.А. Жеребков вводит понятие комплексного метазнака, понимая под ним коммуникативную модель языка[III]. В

[II] Потебня А.А. Мысль и язык // Полное собр. соч. Т. 1. — Гос. изд-во Украины. — Изд. 5, 1926. — С. 7.

[III] Среди них, например, Павлов В.М. Языковая способность человека как объект лингвистической науки // Теория речевой деятельности: проблемы психолингвистики. — М.: Наука, 1968. — С. 36-68.

[I] Peirce C.S. Elements of Logic // Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Vol. II. — Cambridge: Harvard University Press, 1960.

[II] Bühler C.S. Die Axiomatik der Sprachwissenschaften. — Frankfurt a/M.: Klostermann V. 1969. — S. 116.

[III] Жеребков В.А. Коммуникативная модель как комплексный метазнак // Вопросы языкознания. 1985. — № 6. — С. 63-69.

этой модели происходит смысловое насыщение всех компонентов знакового треугольника в рамках противопоставления двух основных коммуникативных регистров: тематического и непосредственного общения. При всей динамичности этой модели она все же не учитывает обратной связи. В модели Р. Келлера обратная связь между отправителем информации и реципиентом осуществляется через взаимодействие введенных Н. Хомским категорий интериоризации/экстериоризации языка, то есть его внутреннего усвоения индивидуумом и использования вовне.

Обратная связь значима и для знаконосителя, или знакового средства, выбор которого из системы осуществляется тоже с учетом интериоризованной/экстериоризованной грамматик. Отсутствие экстериоризации в естественных условиях, например при обучении иностранному языку в отрыве от страны, где этот язык является естественным средством общения, ведет к идеализации языкового употребления. Выбор языковых средств в условиях отсутствия обратной связи застывает на стадии литературных образцов. Наконец, обратная связь важна и для обозначаемого. Входя в круг экологических условий, оно определяет индивидуальную компетенцию говорящего, заставляя его прогнозировать индивидуальную компетенцию партнера. Если обратная связь отсутствует, что тоже может иметь место при изучении иностранного языка, то выбор способа именования может казаться странным людям, для которых данный язык является родным. Возникает парадоксальная ситуация: речь на родном языке воспринимается как чужая.

Таким образом, процесс невидимой руки предстает как вполне реальный. Его неосознаваемость, или неуловимость, объясняется как врожденной индивидуальной способностью к овладению языком, так и высокой степенью опосредованности выбора. Ни первое, ни второе не осознаются “наивными” носителями языка: первое в силу того, что языковая способность свойственна всем здоровым людям и воспринимается как нечто само собой разумеющееся; второе — в силу многофакторности, определяющей опосредованность выбора, что граничит с интуицией или формирует ее. Все это, мягко говоря, несколько

странно для читателя в России, привыкшего иметь дело с материальными сущностями. В истории языка это прежде всего звуковые или иные конкретные, осязаемые изменения, вызываемые определенными тенденциями. Сами же тенденции в лучшем случае констатируются, их наличие принимается как данность. Р. Келлер же пытается объяснить их возникновение.

Синтаксические исследования последних лет, кажется, подтверждают его правоту. В частности, исследование продолженных синтаксических форм позволяет выделить в их развитии фазу кумуляции (накопление в их частях однородной семантической информации) — процесс, регулируемый прагматически, через опосредованную оценочность при выборе наименований. Так, при выражения отношения причинности значимым оказывается наличие в первой его части семантики отрицания или высокой степени качества[I]. И то, и другое можно рассматривать как результат прагматического выбора в процессе называния. Процесс выбора регулируется таким образом, что предпочтение отдается языковым средствам, которые в известной степени противоречат ожиданиям, — ситуация обозначается с помощью отрицания или оценивается не нейтрально, а посредством высокой степени качества. Именно поэтому она и требует обоснования. Вряд ли возможно предугадать, к чему приведет в конечном итоге этот процесс. Однако нет сомнений в том, что он начался.

Доказательством тому служит описываемое Р. Келлером скачкообразное изменение значения союза *weil* в современном немецком языке. Из союза, обозначающего причину, он в известных случаях превращается в союз, соединяющий эпистемические высказывания как результат наших размышлений о причине происшедшего. В немецком языке изменение значения союза четко фиксируется словорасположением в придаточной части, в которой используется порядок слов самостоятельного

[I] Ср. Кострова О.А. Типология номинаций в мотивированных предложениях // Единицы языка в коммуникативном и номинативном аспектах. — Л., 1986. — С. 100-110.

предложения. Процесс невидимой руки, по-видимому, проявляется здесь на стадии накопления семантической информации и становится очевидным в структурной перестройке фразы.

Вот лишь основные мысли, касающиеся функционирования языка, которые мне хотелось бы прокомментировать в русском издании. Я не касалась рассуждений Р. Келлера о социальных вопросах. О резонансе, который они вызвали на Западе, пишет сам автор в предисловии ко второму изданию. Думается, в России резонанс будет не меньший.

В заключение еще несколько слов о русском издании книги. Читателя, несомненно, заинтересует богатейшая и малоизвестная у нас библиография. К сожалению, большая ее часть отсутствует на русском языке. А опубликованные переводы è èõ èíòåðïðåòàöèè, на мой взгляд, не всегда удачны. Так, во вступительной статье к сборнику переводов “Новое в зарубежной лингвистике” в качестве комментария к переводу Грайса употребляется термин “максимы речевого общения”[I], что должно соответствовать немецкому варианту *sprachliche Handlungsmaximen.* В данной работе это выражение переводится как *правила языковой деятельности,* поскольку для русского читателя латинское слово *максима* слабо ассоциируется со словом *правило,* а Руди Келлер, интерпретируя Грайса, имеет в виду именно правила, которым следуют говорящие, выбирая то или иное выражение.

Цитаты, приведенные в оригинале на английском и французском языках, переведены на русский и даются на языке оригинала только в исключительных случаях, когда могут возникнуть сомнения в их толковании или когда трудно подобрать русский эквивалент. Указатель имен разбит на две части. Если имя встречается в тексте, то оно приводится на русском языке;

[I] См. Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики: вступ. ст. // Новое в зарубежной лингвистике: сб. ст. / Переводы. — М.: Прогресс, 1985. — Вып. 16: Лингвистическая прагматика. — С. 26-27.

если имя взято из сноски, оно включено в иноязычную часть. Предметный указатель, в основном, сохраняет структуру оригинала. Однако иногда приводятся синонимичные выражения, необходимость которых продиктована, как правило, стилистическими соображениями перевода.

Ольга Кострова

Самара, 1996

Предисловие ко второму изданию

Лейтмотивом многих наук второй половины XIX века был поиск теорий развития. Это относится и к языкознанию. Лейтмотивом многих наук наших дней является поиск теорий спонтанных порядков, которые возникают, несмотря на то, что они не были ни задуманы, ни спланированы. Спонтанные порядки существуют во всех областях; в области живой и неживой природы, а также в области культуры: спираль галактики или раскрывающийся весной папоротник, пейзаж с дюнами в Западной Сахаре, горнолыжная трасса — или так называемый естественный язык. Спонтанные порядки в социокультурной области — это обычно эпифеномены индивидуальных действий, являющиеся следствием совсем других мотивов, чем тот, который вызывает порядок. Это в равной степени относится и к горнолыжной трассе, и к немецкому языку. Некоторые не считают исследование таких языков, как немецкий или английский, серьезным научным занятием, потому что это же "только" эпифеномены (см. с. 198 и сл.). Других, напротив, привлекает именно это свойство объекта исследования. Эта книга была написана, чтобы показать, что́ значит рассматривать естественный язык в аспекте спонтанного порядка и что́ из этого следует. Среди всех спонтанных порядков какой-либо культуры естественному языку отводится совершенно особое место. Нет другого спонтанного порядка (за исключением, пожалуй, народного хозяйства), исследованию которого посвящалась бы отдельная отрасль науки, и — как следствие этого — нет такого спонтанного порядка, который был бы так же хорошо

исследован, как естественный язык. В конце концов язык можно считать прототипическим примером спонтанного порядка.

Вероятно, именно благодаря этому наша книга была удостоена внимания за рамками узко специальной сферы, прежде всего среди философов, социологов и экономистов. Представителям этих направлений я особенно благодарен за приглашения на доклады и все то одобрение, которое выпало на мою долю.

Спонтанные порядки часто бывают красивыми. Эстетическая прелесть таких структур может быть основана, с одной стороны, на особом соотношении в них порядка и беспорядка, с другой же, — на сочетании простоты и сложности. Это справедливо не только для языков. Ученые почти всех направлений — это специалисты по нахождению простого в сложном или за сложным. "Сложная вещь есть нечто, составные части которого расположены так, как они вряд ли могли быть расположены благодаря случаю", — определяет Ричард Докинс*. Язык и является такой "сложной вещью." Его сложность, в отличие от сложности симфонии, создается без учета перспективы конечного состояния. Она скорее определяется "взглядом назад"**. Особая структура языка основана на его прошлом. Такой подход придает новую значимость истории языка. Ее задача состоит не только в том, чтобы обнаруживать прошлые состояния, но и в том, чтобы реконструировать настоящее, исходя из перспективы его эволюции. Главная мысль этой книги звучит так: Современное состояние нашего языка — это непреднамеренный результат действий, которые выбирают сменяющие

* Dawkins 1986/87, c. 20.
** Dawkins 1986/87, c. 21.

друг друга поколения говорящих. Реконструкции этого генетического процесса отводится центральная роль в теории, объясняющей языковые состояния.

Хочется верить, что данный текст содержит несколько меньше опечаток, а новая глава обогатила его по сравнению с текстом первого издания. Один из рецензентов, Эрхард Альбрехт, имел все основания отметить, что было бы хорошо ввести критику теории так называемых естественных изменений. Такая глава была предусмотрена уже для первого издания. То, что она в конце концов так и не появилась, объясняется исключительно тем, что я в то время не мог дать такую критику естественных теорий, которая бы меня удовлетворила.

Между прочим об удовлетворении: кажется, дело обстоит так, что это состояние недосягаемо для автора. Книга отображает скорее состояние, которое *удовлетворяло* меня. Что касается читателей, то здесь складывается дифференцированная картина. Книга получила большой резонанс, причем положительные оценки значительно преобладали над критическими и тем более негативными. (Список появившихся до сих пор рецензий помещен после списка литературы.) Как положительные, так и отрицательные реакции не в последнюю очередь спровоцированы стилем, которым написана книга. Колебания в оценках простирались от восторженного поощрения до полного отрицания научной пригодности. Моей целью было и остается писать так, чтобы по тексту нельзя было заметить усилий исследователя. У текстов, как и у акробатов, соотношение простоты и сложности должно быть совершенно другим, нежели у спонтанных порядков. У читателя должен быть шанс за простотой и кажущейся легкостью обнаруживать сложность. Определенный сорт критики проистекает из того, что книга читалась с из-

вестными ожиданиями, которые не оправдались, поэтому эксплицитное предупреждение: в мои намерения не входит дать обзор существующих теорий языкового развития. Это уже сделали другие авторы, например Эйчисон 1991, Даузес 1990, Лэсс 1980 или Виндиш 1988. Теории других авторов только упоминаются в связи с теорией, излагаемой в этой книге. Упоминание или неупоминание теории какого-либо автора не является знаком соответствующей оценки. Представление языковых исторических исследований также не являлось специальной целью. Ссылки на историю языка служат исключительно пояснению излагаемой здесь теории.

Я очень благодарен всем, кто критикой, непосредственной помощью и одобрением способствовал возникновению этой книги. В первую очередь следует назвать рецензентов, а также тех, кто высказывал мне свое мнение в личных письмах и разговорах. Особенно я благодарен Петре Радтке за внимательное прочтение и многочисленные разговоры. Петер Шмитц выполнил корректуру и обновил регистр имен и понятий. Ему я тоже сердечно благодарен. Наконец, я искренне признателен издательству, и прежде всего доктору Петре Бегеман, за сотрудничество, надежность и исключительную заботливость.

Я хотел бы продолжить критическую дискуссию по предложенной здесь теории и уже сейчас благодарю всех, кто примет в ней участие.

Дюссельдорф, июнь 1994 г.

Предисловие

Когда я лет десять назад прочитал книгу Роберта Ноцика "Анархия, государство и утопия" — произведение о политической философии, я заразился идеей, которая до того времени был мне чужда: "близнецовской идеей", как назвал ее фон Хайек, — идеей спонтанного порядка и объяснения с помощью невидимой руки.

"Таким объяснениям свойственно нечто прекрасное", — замечает Ноцик. Меня привлекала, однако, не только интеллектуальная эстетика, присущая этой близнецовской идее, но и чувство, что здесь я нашел понятия, хотя и выработанные политической философией и национальной экономикой, но прямо-таки напрашивающиеся на адаптацию в науке о языке.

Действительно, языкознание восприняло от политической философии и национальной экономики то социально-эволюционное направление, которое открыто поощрялось последние два столетия. Но так как круг чтения ученых во многом ограничивается требованиями, задаваемыми университетскими и факультетскими структурами, то это направление не привлекло к себе внимания. Эта книга представляет собой попытку воспринять данное направление и — по аналогии с объяснительной политической теорией Ноцика — предложить нечто подобное для области языка.

Ноэм Хомский, насколько мне известно, первым настоятельно выдвинул требование о том, что целью синтаксической теории должно быть адекватное объяснение. Но то, что применимо для ограниченной области синтаксиса, то применимо и для любой эмпирической теории:

она должна не только говорить, чтó имеет место, но и объяснять, почему это имеет место. В данной книге представляется эволюционная теория языка, “близнецовская идея”, объединяющая понятие “язык” с относящимся к нему объяснительным модусом, в рамках которого в принципе объяснимы языковые явления, причем объяснимы в строгом смысле, предполагающем, что заданы необходимые ограничительные условия.

Я пытаюсь представить эволюционный взгляд на язык в системе, дополняя ее многочисленными научно-историческими вставками. Ведь чтобы дойти до решения проблемы, нужно сначала понять саму эту проблему, на решение которой мы претендуем; а для этого, в свою очередь, полезно изучить неудавшиеся попытки ее решения, а также причины этих неудач.

Лингвистика не считается в обществе и в студенческих кругах развлекательной наукой. Однако ее предмет (наука о языке + история его развития) не заслужил этого. Работая над книгой, обычно представляют себе фиктивных читателей, “которым” она адресуется. Мои фиктивные читатели происходят из трех групп: заинтересованных дилетантов, учащихся и специалистов. Чтобы не оттолкнуть прежде всего две первых из них, я старался избегать как занудного стиля, так и специального лингвистического жаргона. Там, где требуются специальные знания, они вводятся и объясняются в тексте. Я пытался, не упрощая, представить сложное несложным; насколько успешно, покажет время.

Долгое время, пока представленные здесь мысли развивались, вызревали, отлеживались, частично даже обвисали, я дискутировал об этом с таким большим количеством людей (на коллоквиумах, семинарах, во время докладов), что невозможно поименно поблагодарить всех,

кто этого заслуживает. Поэтому я вынужден ограничить себя, назвав только тех, кому я обязан особой благодарностью. Эрика К.Гарсиа постоянно сопровождала возникновение этой теории благожелательной и продуктивной критикой. С самого начала я находил понимание и поддержку у Гельмута Людтке. Виктору Ванбергу я благодарен прежде всего за критические комментарии к моим соображениям о социокультурной эволюции. Фридрих Август фон Хайек особенно помог мне на начальном этапе своим одобрением и многочисленными указаниями на литературу, благодаря которым я смог ориентироваться в незнакомой мне области. Комментарии Роджера Лэсса к проблеме объяснения и прогноза побудили к некоторым модификациям более ранних редакций текста. Бригитта Нерлих навела окончательный лоск на весь текст. Акселю Бюлеру я признателен за многочисленные критические комментарии к рукописи, из которых я, однако, из-за нехватки времени до сих пор смог обработать только незначительную часть. Их всех я хотел бы здесь сердечно поблагодарить.

Особой благодарности заслуживают Михаэль Тайзен и Сюзанна Кройц, которые ввели текст в компьютер. Благодаря их критической внимательности удалось избежать некоторых шероховатостей и ошибок; если в этом тексте мало идиотизмов Пфальца и общенемецких стилистических “перлов”, то это тоже во многом их заслуга.

Эта тема для меня еще долго не будет закрытой, поэтому я и в дальнейшем буду благодарен за исправления, критику и стимулы.

Дюссельдорф, 1989 г. Р. Келлер

ЧАСТЬ I

1. Проблема языковых изменений

1.1. Почему изменяется язык?

В Центральной Австралии, где сливаются реки Муррэй и Дарлинг, живет небольшое племя аборигенов, которое было вынуждено девять раз в течение пяти лет поменять слово, обозначающее воду, потому, что умирал человек, носящий имя "вода"[1].

Нам трудно понять и повторить что-либо подобное. А могли бы австралийские аборигены понять и повторить наше массовое увлечение бегом по лесу, популярное с тех пор, как пропагандируется слово "Jogging", обозначающее нечто среднее между спортивной ходьбой и бегом?

Как бы там ни было, оба примера показывают, что язык служит нам не только для того, чтобы обмениваться мыслями или делать правдивые высказывания о мире, но и для других целей.

В языке идет процесс непрерывного изменения. Вальтера фон дер Фогельвайде отделяет от нас примерно двадцать пять поколений. Если бы машина времени перенесла нас к нему в 1200 год, нам потребовались бы величайшие усилия, чтобы хотя бы приблизительно понять друг друга. Маутнер отмечает, что и современник Вальтера, который "прожил бы немногим более 700 лет, со-

---

[1] Strehlow 1907-1915, с. 55. Цит. по: Boretzky 1981, с.75.

хранив свежесть духа и тела”, вряд ли понял бы “своего друга молодости”[2].

С Пушкиным, от которого нас отделяют около 180 лет, у нас бы не было таких фундаментальных трудностей взаимопонимания, как с Вальтером, но мы на каждом шагу должны были бы спотыкаться и переспрашивать. Выражение “...готов *охлопать* entrechat”[3] следует понимать не как ”готов освистать”, а как “готов выразить аплодисментами одобрение”. *Китайкой* назывался сорт хлопчатобумажной ткани; мы бы не поняли, кого называют *драгоманом* и что значит *безуханный*[4]. Если бы ребенок в школьном сочинении употребил пушкинскую конструкцию *для узнания неприятельских намерений*[5], то сегодня это расценили бы как ошибочное выражение. *Охладеть* во времена Пушкина означало не только “утратить чувства к кому-либо”, но и “похолодеть от сильного потрясения”. Примеры можно было бы продолжать бесконечно.

Даже если мы перенесемся во времени только на одно поколение назад и пролистаем, например, газету 50-х го-

---

[2] Mauthner 1912/1982, с.7.

[3] Словарь языка Пушкина, т. 3, с. 255. — *Прим. перев.* Пример автора: “Der beste *Champion* für meines Weibes Ehre (Goethe Wörterbuch 1985, т. 2), где *Champion* означает не “чемпион”, а “рыцарь-защитник”.

[4] *Драгоман* означает “переводчик при европейских посольствах на Востоке”; *безуханный* означает “лишенный запаха”. — *Прим. перев.* Примеры автора: *Chapeau* было словом, обычно применявшимся для обозначения короля танцев; *brustkrank* означает “lungenkrank”, а *ich will beytätig sein* — ”я хочу в этом участвовать”.

[5] Словарь языка Пушкина, т. 4, с. 674. — *Прим. перев.* Авторский пример устаревшего стиля из Гете: Если бы ребенок в школьном сочинении употребил гетевскую конструкцию “Regen wirkt *um desto* unangenehmer *als*...” [Goethes Werke 1908, 45. Bd, S. 291], то сегодня ее расценили бы как ошибочное выражение. Во времена Гете прилагательное *merkwürdig* обозначало не “нечто странное,” а то, что надо было запомнить, то есть “нечто важное”.

дов, кое-что покажется нам достаточно чуждым. Так “Комсомольская правда” пишет 12.01.1950: “Опытному летчику, командиру воздушного корабля Читинского аэропорта — Спартаку Гриневичу 23 года. Стройный сероглазый юноша со школьной скамьи мечтал об авиации”. Сегодня мы написали бы вместо “воздушный корабль” “лайнер”, а вместо “юноша” — “молодой человек”*. Значительно отличается от нашего сегодняшнего языка язык рекламы, моды и брачных объявлений. Например, рекламируется “элегантное дамское платье”, “веселое дамское платье нового покроя”, “послеобеденное платье с карманами новой конструкции” или “элегантное дамское пальто с богато украшенным воротником новой конструкции. Подходящее добавление: модный капюшон”. Все это подходит и для “полных дам”. Мужчинам рекомендуются “мужские трико обыкновенные”, а женщинам соответственно — “дамские вязаные трико”.

В брачных объявлениях, например, “жизнерадостная привлекательная блондинка” или “девушка 39/1,62, стройная...”, или “дев. 48 л.”, или “мол. девушка 24/1,70” ищет мужа на всю жизнь. Тогда как многие мужчины ищут знакомства с “честной девушкой” или с “милой, верной девушкой”, в любом случае с “девушкой”, многие женщины желают для себя “хорошего спутника жизни”.

Короче говоря, мы находим в газете, напечатанной 45 лет назад, достаточное количество выражений и способов выражения, которые сегодня были бы немыслимы в

---

* Р. Келлер приводит здесь сообщение газеты “Rheinische Post” от 1.12.1951 о том, что чрезвычайная комиссия полиции “für Hinweise aus dem Publikum, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von 1000 Mark ausgesetzt” hat. Сегодня вместо “Publikum” написали бы “Bevölkerung”, а вместо “Mark” “DM”. — *Прим. перев.*

том же самом контексте. В одних рубриках это заметно больше, в других несколько меньше.

Почему это так? Почему вообще изменяется язык? Разве с нашим языком, какой он есть, не все в порядке? Вам что-то в нем не нравится и Вы хотели бы что-то в нем изменить? Нет, в общем и целом нас больше раздражают нововведения, чем прежнее состояние... Стоит подумать, например, о лавине иностранных слов, обрушившихся на русский язык с начала перестройки*.

Это как в моде: нововведения кажутся нам поначалу варварскими, а когда они станут обычными, мы улыбаемся, глядя на прежние фасоны. Кажется, это универсальная игра, к тому же игра без конца.

Можно ли представить себе язык, который не изменяется? Разумный ли это вообще вопрос? Более того, не следует ли задаться вопросом, можно ли представить себе народ, который не изменяет своего языка? Я еще вернусь к этой альтернативе.

Представьте себе на минуту, что Вы как лингвист принимаете участие в экспедиции в неизвестную страну. Вы бы рассчитывали встретить язык, который оставался бы постоянным на протяжении веков? Конечно нет, но почему?

Такой язык, несомненно, имел бы некоторые преимущества. Взаимопонимание поколений освободилось бы от "ненужных" затруднений, упростилась бы передача традиций, старики не могли бы обвинять язык в том, что он создает проблемы с молодежью, а теоретики распада

---

*В немецком оригинале автор пишет о "новом" порядке слов в придаточных предложениях с союзом "weil" (которые в разговорном языке строятся отныне как предложения с союзом "denn", а не как предложения с союзом "da"): "Ich muß mich beeilen, weil ich will noch etwas einkaufen, bevor die Läden zumachen". — *Прим. перев.*

языка и пуристы могли бы заняться более полезными делами.

Но скоро выявляется и недостаток: ведь язык народа должен идти в ногу с общественным развитием. “Языковое освоение постоянно меняющегося мира, который окружает человека, требует непрерывного расширения словаря” [6].

Действительно ли требует? Давайте еще немного пофантазируем. Предположим, что Вы встретили народ, который, насколько можно заглянуть вглубь веков, не затронули ни изменения окружающей среды, ни цивилизация. Вправе ли Вы ожидать, что в языке этого народа не произошло никаких изменений?

Нет, и в этом случае нет. Мы легко можем убедиться в этом на своем собственном языке.

Какие изменения в окружающей среде вызвали изменения от *игрецкого* дома к *игорному*, от *гремушек* к *погремушкам*, от *коли* к *если* ? С другой стороны, мы все еще можем, не задумываясь, употребить уменьшительное имя *лодка* к славянскому *лодья* или старое германское слово *Boot*, чтобы обозначить атомную подводную лодку. О деятельности оператора, обслуживающего электронную камеру, мы спокойно можем сказать, что он *снимает* или, по-немецки, *dreht*.

Нововведения в нашей жизни ни необходимы, ни достаточны для изменений в языке. Идея о том, что это так, совпадает с идеологией, согласно которой задачей языка является отражение мира (по возможности однозначное) и что общение по сути своей состоит в том, чтобы делать истинностные высказывания о мире. Но это только один

[6] Fleischer 1981, с. 9.

аспект общения. Общение — это, в первую очередь, **желание** определенным образом **повлиять** на кого-либо.

1.2. Организм или механизм?

Я уже упоминал о том, как непросто правильно поставить вопросы, анализируя языковые изменения. Тем более совершенно необходимо избегать постановки вопросов, ведущих к заблуждению при образовании теорий. “Наши вопросы лимитируют и наши ответы”[7]. В нашем случае трудности состоят в том, что восприятие и мыслительные модели, лежащие в основе словаря повседневного языка, не соответствуют процессам непрерывных изменений.

Лингвисты, насколько мне известно, никогда не подвергали сомнению универсальность изменений естественных языков. Если **все** языки подлежат процессу непрерывного преобразования, то можно предположить, что постоянное изменение является **существенной** чертой естественных языков (хотя это и не обязательное следствие!). “Способность языка к постоянному преобразованию неотделимо от его природы”, — писал Герман Пауль [8]. Почему это так — до сегодняшнего дня доказано слабо.

Я еще займусь аргументами подробнее; прежде, однако, одно небольшое предостережение от неправильных выводов. Кто успешно доказывает, что изменяемость (или изменимость) языка существенна (например, с помощью корректного аргумента, что она следует из его конвенциональности или произвольности), тот тем самым доказывает не то, что язык в самом деле изменяется, и

[7] Stamm 1986, с. 1.
[8] Paul 1910, с. 369.

не то, что все языки действительно изменяются, и тем более не то, что это неизбежно имеет место. В самом деле, из возможности преобразования не следует факт преобразования и тем самым не обеспечены ни его универсальность, ни его необходимость. Не будет противоречия говорить о чем-либо, что, хотя оно и изменяемо, но еще никогда не изменялось. И нет противоречия в высказывании, что все языки подвержены непрерывному преобразованию, но это преобразование не обязательно. (Так же как, например, все промышленно развитые нации пьют кока-колу, но это не становится существенной чертой промышленно развитой нации).

Изменимость языка действительно вытекает из его произвольности, которая, в свою очередь, следует из его конвенциональности. (Если бы к способу поведения не было такой же хорошей альтернативы, мы бы не называли его конвенциональным [9]).

Универсальность преобразования представляется пока эмпирическим утверждением.

Для **необходимости преобразования** нужно еще найти аргументы.

По-видимому, понимание процессов непрерывного преобразования с незапамятных времен дается людям с большим трудом[10]. Причина, вероятно, кроется в том, что в нашей повседневной жизни отсутствуют наглядные, узнаваемые образцы этого процесса. Чувственно воспринимаемые образцы существуют только для процесса *становления*: это онтогенез в живой природе и деятельность ремесленника. И в том, и в другом случае речь идет о направленных процессах, то есть о таких, в которых идея

---

[9] Это показал прежде всего David Lewis (1969/1975, с. 71).
[10] Ср. Wildgen 1985.

продукта существует до того, как этот продукт предстанет в готовом виде. Мы увидим, что обе модели используются в теории языка.

Словарь нашего повседневного языка формируется такими же когнитивными моделями. У нас есть словарь создания и словарь роста. Чего у нас нет, так это словаря эволюции. К языкознанию применимо утверждение, которое Конрад Лоренц высказал для биологии: "Если попытаться описать процесс великого органического становления, оставаясь верным природе, то дело будет постоянно тормозиться, так как словарь культурного языка возник в то время, когда онтогенез, то есть процесс индивидуального становления живого существа, был единственным известным способом развития"[11]. А индивидуальная деятельность ремесленника-создателя была единственным известным способом производства неприродных продуктов (как можно было бы добавить для культурной сферы).

Сами слова "развитие" и "эволюция" подчеркивают совершенно чуждое эволюционной мысли представление о распаковывании (ср. "development"), раскрытии чего-то уже имеющегося в зародыше. (Возможно, именно поэтому Дарвин вообще не применял слово "эволюция" в первом издании своего труда "The Origin of Species" [12]).

Процессы непрерывного преобразования, которые могли бы служить нам в качестве образцов, или протекают слишком медленно, так что человек в течение жизни не может осознать их как таковые, к примеру эволюцию живой природы; или же мы не воспринимаем изменения как непрерывные преобразовательные процессы, хотя их

[11] Lorenz 1973, с. 47.
[12] Toulmin 1972/1978, с. 386, прим. 228.

скорость относительно продолжительности нашей жизни позволила бы это сделать. Так мы воспринимаем изменения морали, обычаев, религиозности, представлений о красоте и языковые изменения. Кажется, мы склонны воспринимать эти феномены, учитывая перспективу их утраты. На них мы тренируем свой пессимизм в отношении культуры.

До сих пор утверждается, что люди не осознают языковых изменений, потому что они происходят слишком медленно и маленькими шажками. Но ни то, ни другое не верно. Есть очень быстрые и скачкообразные изменения. Вспомним, например, об отказе от инверсии после союза *weil* в устной речи (weil das klingt so besser) или о тенденции избегать глагольного обрамления (“wir laden ein zu einem Gespräch”), или, например, о скачкообразном изменении значения прилагательного *ökologisch*. Я думаю, что языковые изменения замечаются людьми, но не осознаются как перманентный процесс. Типичная форма восприятия языковых изменений состоит, кажется, в том, что люди болезненно переживают их как распад. Не примечательно ли, что различные теоретики уже более 2000 лет жалуются на все ускоряющийся распад их родных языков, но тем не менее не могут привести ни одного примера действительно распавшегося языка? К тому же, кажется, нет такого человека, который пожалел бы о распаде своего с о б с т в е н н о г о индивидуального языка: “Ах, по сравнению с моими бабушками и дедушками, на каком противном немецком я пишу!” Распад языка — это всегда распад языка других. Это должно настораживать.

В отношении языковых изменений мы можем выбирать между двумя вопросами:

“Почему язык изменяется?” или “Почему говорящие изменяют язык?” Первый вариант я назову органистическим (уподобляющим язык организму), а второй — механистичным.

Оба варианта коварны. Они провоцируют ответы, не соответствующие сущности вопроса.

Рассмотрим сначала органический вариант. Гипостазации, метафоры и антропоморфизмы встречаются на каждом шагу, как в научном, так и в повседневном языке. Об электрическом токе мы говорим, что он “течет”, о генах — что они “эгоистичны”, изменения атмосферного давления “колеблются” между высокими и низкими точками, атмосферные фронты “образуются и отступают”. Такие выражения удобны в качестве сокращений. Они не создают проблем, потому что хотя бы соответствующие специалисты могут дать негипостазированные, неметафоричные или неантропоморфные объяснения.

Вопрос “Почему изменяется язык?” содержит пресуппозицию “Язык изменяется”. Особенность этого гипостазирования состоит в том, что его не могут буквально расшифровать даже специалисты. Мы, конечно, знаем, что немецкий язык, изменяясь, сам ничего для этого не делает. Мы знаем, что какое-то отношение к этому имеют люди. Но какое?

Как показывает история, овеществление языка почти неизбежно влечет за собой его персонификацию. Если уж язык — вещь, то вещь немертвая. Язык живет. В нем “действуют” силы[13], он “растет”, “стареет” и “умирает”[14]. Персонификация языка снова провоцирует антропоморфизмы: язык “ищет решений”, он “изгоняет”, он

[13] Ср.: L. Weisgerber 1971, с. 9; de Saussure 1916/1967, с. 110.
[14] Schleicher 1863, с. 6 и далее.

“искушает”, он “борется за существование” и “побеждает”[15]. А так как язык проделывает все это с умом и довольно ловко, то он в конце концов еще наделяется “духом”, который “владычествует” в нем[16]. Так незаметно специфическое для вида homo sapiens средство общения[17] становится рациональным живым существом, обладающим всяческими чудесными способностями.

Механистичная версия вопроса заранее предполагает и ошибочный тезис о том, что это говорящие изменяют свой язык.. Хомский задает риторический вопрос: “Вы или я ‘создали’ язык?”[18]. Утверждение о том, что она хотя бы чуть-чуть изменила немецкий язык, моя бабушка, конечно же, восприняла бы как упрек и с полным правом отмежевалась бы от него.

Итак, оба способа выражения, органический и механистичный, ошибочны. Формулировака “Почему изменяется язык?”, превращает язык в вещь с присущими ей жизненными силами, гипостазируя его в организм, как любили говорить в XIX веке.

“Почему говорящие изменяют свой язык?” звучит слишком активно, слишком целенаправленно, как будто они это запланировали и потом своей волей осуществили; как будто язык — это артефакт, созданный людьми, механизм, который они способны изготовить и перестроить.

Обе формулировки повторяют две упомянутые вначале модели становления: онтогенез и ремесло. И обе не годятся как модели, лежащие в основе непрерывных

---

[15] Ср. Schleicher 1863, с. 29.
[16] Grimm 1968, с. 6.
[17] Lüdtke 1980, с. 3.
[18] Chomsky 1980/1981, с. 18.

языковых изменений. Не годятся по трем основным причинам.

1. Как онтогенез, так и деятельность ремесленника целенаправленны, то есть конечный продукт изначально предполагается либо генетически, либо концептуально. Это не верно для развития языка.

2. Как онтогенез, так и деятельность ремесленника конечны. (Это следует из пункта 1.) Они заканчиваются, когда возникает предполагавшийся конечный продукт. "Жизнь" языка, напротив, потенциально бесконечна.

3. Как онтогенез, так и деятельность ремесленника — индивидуальные процессы. Если артефакт не может быть создан одним индивидуумом, то по случайным причинам. Коллективные целенаправленные действия квазииндивидуальны; в большинстве случаев есть центральная планирующая инстанция, которой может быть приписана деятельность: "Растрелли построил Зимний дворец". Языковые изменения, как и биологическая эволюция, — коллективные феномены, для которых характерно, что в них участвуют популяции.

1.3. Интенции, планы и сознание

Кому-то покажется, что ему известно решение загадки. Она звучит так. "Конечно, 'механистическая' версия корректна, ее нужно только дополнить! Формулировка 'Говорящие изменяют свой язык' только потому вызывает возражения, что они делают это не намеренно и планомерно, а неосознанно."

Будет ли корректным в таком случае следующее высказывание?

(1) "Говорящие изменяют свой язык, но они делают это не намеренно и планомерно, а неосознанно."

Я думаю, что это “решение” больше ставит проблем, чем их решает. Первая проблема состоит в том, что здесь речь идет о коллективистском высказывании. Что значит говорить о 80 миллионах людей, что они делают что-то неосознанно? Что неосознанно делает каждый отдельный человек? Пока не выяснена логика взаимосвязи между коллективным и соответствующим индивидуальным высказываниями, подобное коллективное высказывание не имеет объяснительной силы.

Вторая проблема состоит в том, что в этом высказывании неправомерно сведены вместе три понятия. При этом речь идет о смешении понятий, имеющем традицию: *намеренно, планово* и *сознательно* бросаются в общий котел. Я хочу показать, что высказывание (1) ничего не может объяснить, более того, при ближайшем рассмотрении оказывается пустым и вводящим в заблуждение.

Начнем с выражения *намеренно* (intentional). Теоретики действия, в общем, сходятся во мнении, что действия неизбежно интенциональны: интерпретировать активность личности как действие означает приписывать ей намерения.

Я думаю, что это высказывание истинно и двусмысленно. Оно двусмысленно, потому что “ей” может относиться как к “личности”, так и к “активности”. Однако эта двусмысленность не опасна, а именно, по следующей причине.

Действие имеет цель, личность имеет намерение (но не наоборот). Формулирование намерения деятеля — это всегда и формулирование цели его действия. Намерением деятеля всегда является достижение цели его действия. (Это высказывание не о мире, а о семантике слов *цель* {Zweck} и *намерение* {Absicht}!). То, что считается достижением цели действия, будет в то же самое время и реали-

зацией намерения деятеля. Поэтому не принесет вреда, если вкладывать в слово *интенция* два смысла: можно понимать под интенцией действия его цель, а под интенцией деятеля его намерение при выполнении действия.

Вторая двусмысленность (двусмысленность слова *намерение* {Absicht}) не так безвредна. Иногда она ведет к смешению понятий *намеренно* (intentional) и *планово* (geplant).

Намерение, направленное на будущее действие, не идентично намерению, с которым выполняется действие. Когда я говорю, что у меня есть намерение покрасить на будущей неделе забор в саду, я ничего не говорю о том, с каким намерением я хочу красить забор. Я ничего не говорю и о том, какой цели служит это действие.

Я крашу забор с намерением сделать его крепче. Мое сегодняшнее намерение покрасить забор на следующей неделе логически не имеет никакого отношения к намерению, с которым красится забор. Короче: **намерение, с которым** выполняется действие, нельзя смешивать с **намерением сделать** что-то.

Намерение покрасить забор может быть неопределенным или окончательным. А намерение, с которым красится забор, не может быть ни неопределенным, ни окончательным.

Намерение сделать что-то — это намерение, план или обязательство по отношению к самому себе.

Напротив, намерение, с которым выполняется действие, затрагивает логику самого действия. Действие окончательно определено тогда, когда названы планируемый результат и планируемое(ые) последствие(ия)[19]. Но

[19] Ср. Keller 1977, с. 19.

действие никоим образом не охарактеризовано, если сказать, что планируется его осуществление.

Если мы в дальнейшем, ради ясности, намерение, с которым что-то делается, будем обозначать как “намерение-*ц*” (цель), а намерение что-то сделать — “намерение-*п*” (план), то можно сказать, что, когда речь идет об интенциональности действия, интерес представляют исключительно намерения-*ц*. С биографической точки зрения может быть интересно, какие из своих намерений-*п* я воплотил в жизнь, с точки зрения теории действия возникает вопрос только о намерениях-*ц* моих действий.

Смешение обоих типов намерений ведет к путанице. Из предположения, что каждое действие по определению обусловлено намерением-*ц*, не следует, что к каждому действию было и намерение-*п*. Когда я собираюсь открыть дверь, я отодвигаю большой палец от указательного, чтобы взяться за ручку. Само собой разумеется, что это действие служит намерению-*ц*. Оно целенаправленно, но я не намереваюсь произвести и не планирую его каждый раз. Часто преподносимый тезис, что каждое действие спланировано, что для каждого действия есть план, основано на смешении намерения-*ц* и намерения-*п*. Более того, это предположение запутывает и повторяющуюся обратную последовательность: поскольку планирование само является действием, то оно, как и каждое действие, должно планироваться, а это спланированное намерение тоже спланировано и т. д. Конечно, этот аргумент нехорош. Теоретик планирования действий[20] стал бы отрицать, что планирование является действием

[20] Ср., например, B. Wunderlich 1976, с. 37; Ronneberger-Sibold 1980, с. 25, 33, 134, 135; Rehbein 1977.

в таком смысле. Но тогда ему пришлось бы сказать, что́ в таком смысле означает *планирование*.

Итак, отметим: из факта, что было намерение осуществить нечто, не следует, что это нечто было спланировано. Следовательно, языковые намерения могли бы быть интенциональными (что не соответствует действительности!), оставаясь при этом незапланированными. Более того, они могли бы быть запланированы (что иногда имеет место!), не будучи интенциональными. Как это возможно, я пока еще не могу объяснить (ср. главу 4.4).

Интенциональный и *запланированный* — это не зависящие друг от друга предикаты.

Обратимся, однако, к нашему третьему понятию: *осознанно* или *неосознанно*.

Тезис о том, что языковые изменения осуществляются ненамеренно, но осознанно, приводит к противоположному выводу. Предположение, что интенциональные феномены — это в то же время и осознанные феномены, основано, вероятно, все на том же смешении намерения-*ц* и намерения-*п*. Если нечто задумано как намерение-*п*, то это нечто должно быть осознано. Иметь намерение означает сознательно что-то задумать. Напротив, я осознаю далеко не все, что я делаю с намерением-*ц*.

Мы осознаем, так сказать, только основную линию. У нас есть определенные цели действий, которые мы пытаемся достичь: открыть дверь, поехать на работу, покрасить забор и т. д. Все они имеют комплексную природу и, как правило, осознаются нами. Но у них в услужении находится еще масса действий, которые мы, как правило, не осознаем, хотя они тоже представляют собой действия с намерениями-*ц*: раскрыть ладонь, снять ногу с педали “газ”, стряхнуть кисть и т. д. Всеми этими действиями мы владеем слепо. Пока торможение, переклю-

чение и управление остаются осознанными действиями, человек не может хорошо водить автомобиль.

Кажется, дело обстоит так: чтобы неосознанно вести машину, надо уметь, например, неосознанно переключать; чтобы неосознанно говорить, надо уметь неосознанно конструировать относительные предложения. Мы должны держать наше сознание свободным для чего-то более существенного.

Итак, мы постоянно выполняем намеренные действия, не осознавая их. С другой стороны, есть способы поведения, привычки и т.п., которые не интенциональны, но осознаются нами. Я, как правило, осознаю, когда я краснею, дрожу или чихаю.

Итак, мы можем констатировать: *интенционально* и *осознанно* — это тоже не зависящие друг от друга предикаты. *Интенционально* (в смысле *намерения-ц*) служит логической характеристикой действия, *осознанно* — психологической.

Подведем итог.

Интенционально и *планомерно* не являются синонимами; *интенционально* и *неосознанно* не являются противоположностями.

Но тем самым наше высказывание (1) становится простым перечислением негативных свойств: говорящие изменяют свой язык неинтенционально, непланомерно и неосознанно. Это высказывание в общем и целом, действительно, верно. Но ничего более.

Мы же ищем положительный ответ на вопрос, как и почему говорящие изменяют наш, а возможно и всякий другой язык и не могут не делать этого.

1.4. Сущность, изменение и генезис

Итак, проблема представляется следующим образом. Мы общаемся так, как мы общаемся: здесь соседствуют важное и незначительное, личное и общественное, это происходит письменно и устно и т. д. При этом мы, как правило, так мало думаем о самом языке, как при покупках мы не думаем об инфляции. И именно через это ежедневное, миллионократное использование языка мы его постоянно изменяем, или, выражаясь осторожнее, мы проводим перманентное изменение своего языка. Как правило, мы не ставим это своей задачей. Большинство из нас равнодушно к этому. Многих изменений мы и не замечаем. Некоторые из них мы находим злостными или некрасивыми, другие мы считаем желательными; но мы, как правило, не можем ни целенаправленно предотвратить, ни целенаправленно произвести какое-то изменение. (На влиянии направленной языковой политики и языкового планирования я особо остановлюсь в одной из следующих глав (ср. главу 4.4.)).

Итак, наш вопрос: Каким образом нашим ежедневным общением мы производим преобразования в языке? Каковы механизмы этого постоянного изменения?

Традиционно отмечается один фактор — экономия артикуляции. Но если бы это был единственный фактор, определяющий развитие, то языки с течением времени должны были бы становиться все "экономнее". Очевидно, что это не так (ср. главы 4.5. и 5.1.).

Если бы мы знали, каковы механизмы языковых изменений, мы бы больше знали о нашем ежедневном общении. Ведь способ нашего общения влияет на изменение наших коммуникативных средств. Это не исключает того, что есть случайные нефункциональные процессы. Но они необъяснимы по определению.

(1) Если бы мы знали, *для чего* мы используем язык, мы бы знали, *почему* наш язык изменяется через коммуникацию.

Вопрос о том, каким образом происходит преобразование нашего языка, тем самым становится не историческим, а системным. Завтрашние изменения являются следствием нашей сегодняшней коммуникации. Таким образом, теория изменений одновременно является и теорией функций и принципов нашей коммуникации. Знание механизмов изменения имеет функционально-аналитический аспект.

(2) Если бы мы знали, *почему* наш язык постоянно изменяется, мы бы знали, *для чего* мы его используем.

Предложение (2) — это обращение предложения (1). Знание функций предмета тесно связано со знанием, *почему* этот предмет существует.

(3) Если бы мы знали функции нашего общения, мы бы знали что-то и о логике генезиса нашего языка.

Теория возникновения денег имплицирует теорию функций денег.

Для социальных институтов эта взаимосвязь имеет особое значение, хотя и не является обязательной. Институт мог возникнуть из функций, отличающихся от тех, которые оправдывают его сегодняшнее существование. Возможно, что из инсценировок сражений возникла игра по имени “шахматы”. Когда изначальные функции устарели, это не означало, что должен погибнуть и утвердившийся институт игры; он мог изменить функции. “Отношения между функциональным анализом единицы и причинно-генетическим фактом ее существования, хотя часто и сближаются (...), но ни в коем случае не являются необходимыми”, — пишет Эдна Ульман-Маргалит[21].

[21] Ullmann-Margalit 1978, с. 280.

Это следует понимать только как предупреждение от поспешных выводов, а не как попытку сбросить со счета взаимосвязь функционального анализа и теории генезиса. Такую взаимосвязь мы находим как в вещах, созданных людьми, артефактах, так и в живой природе. Если мне известна функция ветряной метелки в конструкции стропильной фермы, то у меня тем самым есть хорошая гипотеза о том, почему она там нужна. Если мне известна функция почки (пользуясь примером Ульман-Маргалит), у меня есть хорошая гипотеза о том, почему она "возникла". (Я не хочу здесь рассуждать о фундаментальных различиях эволюционного возникновения почки и ремесленного возникновения стропильных ферм.) Совершенно особым образом эта взаимосвязь проявляется в социальных феноменах и институтах, таких, как право, деньги, рынок, мораль или язык.

Попытаюсь пояснить это на одном примере. В фотосерии под названием "10 минут перед Центром Помпиду" архитектор Ганс Никль[22] запечатлел генезис одной структуры (рис.1). На площади перед Центром Помпиду в Париже любители поглазеть образовали два кольца, чтобы посмотреть на две группы уличных музыкантов или фокусников. Здесь речь идет о документальном подтверждении генезиса одного — если хотите — простого примера социальной структуры. Структура возникает так, как возникают языковые изменения, — без плана, без предварительной договоренности; она возникает спонтанно. Нечто подобное называют "спонтанным порядком"[23].

[22] Nickl 1980. Мое внимание на эту репродукцию обратил Бруно Штекер, которому я признателен.

[23] Ср. фон Хайек "Bemerkungen über die Entwicklungen von Systemen von Verhaltensregeln" в: von Hayek 1969.

Ни один из любителей поглазеть не имел в виду создания этой структуры. Большинство людей вообще не заметило, что они своими действиями способствовали ее созданию. Большинству было все равно.

На этом примере я хотел бы показать: нельзя понять сущность этой социальной структуры, если не понимать логики ее возникновения. Для этого же необходимо понимать функцию действий индивидуумов, образующих структуру. Только геометрическое описание созданной структуры не привело бы к ее пониманию. Такую же геометрию могла бы создать рота солдат, которая получила бы от своего командира приказ построиться таким-то способом в круги такого-то диаметра. Обе фигуры, та, что на фотографии, и фиктивная, могли бы стать геометрически идентичными; но как социальные феномены они в корне отличались бы друг от друга.

Структура, подобная той, которую показывает рис. 1, образуется, по всей видимости, потому, что каждый, кто способствует ее созданию, выбирает свое место по критериям, согласно которым он

(а) по возможности хорошо видит,

(б) не подвергает себя опасности и

(в) дает возможность хорошо видеть некоторому количеству других людей.

Это следует знать, чтобы понять эту структуру. (Детсадовские дети, вероятно, действовали бы только в соответствии с критерием (а) и тем самым создали бы совсем другую структуру, а именно клубок.)

Предмет (в самом широком смысле) относится к своей функции как действие к его цели или (что синонимично) к его интенции. Тем самым у социальных феноменов, подобных описываемому, анализ цели действия является основополагающим для понимания созданной структуры. Вместе

с тем, понимание способа образования позволяет понять саму структуру.

То, что анализ целей действия является основополагающим и для понимания изменений, на этом примере просматривается хуже, поскольку речь идет о стабильной структуре. Но это не означает ничего более кроме того, что названные функции действий (а)-(в) создают (относительно) стабильную структуру. Если бы люди действовали *исключительно* в соответствии с критерием (а) (как детсадовские дети), то, возможно, возникла бы постоянно изменяющаяся структура, в которой прослеживалось бы постоянное толкание вперед.

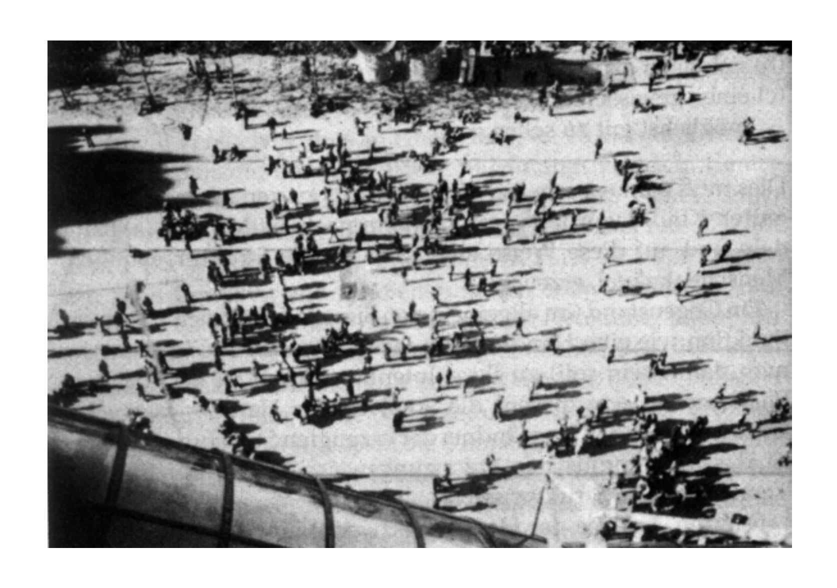
Хотел бы еще раз подчеркнуть, что я говорил только о функциях действий, а не о функциях круговой структуры. На то есть свои причины. В определенном смысле можно ведь и круговой структуре приписать функцию[24] обеспечения приемлемой обозримости для некоторого небольшого числа людей. То, что функция структуры согласуется с функцией способа породившего ее действия таким образом, что структура позволяет осуществить функцию этого действия, не является само собой разумеющимся. В нашем примере это имеет место, потому что структура относительно стабильна. Поведение детей показывает, что это может быть и по-другому. Действия исключительно с целью (а) как раз не ведут к образованию структуры, которая была бы в состоянии осуществить эту самую цель. На этом основана нестабильность структуры. Такая структура обладает свойствами, которые Фридрих Энгельс приписывает истории: “Тому, что хочет каждый отдельный человек, препятствует каждый другой, а

[24] Ср. von Hayek 1956. За эту ссылку я благодарен В. Ванбергу.

препятствует каждый другой, а получается из всего этого то, чего никто не хотел"[25].

В следующих главах я хотел бы подробнее заняться взаимосвязью вопросов о сущности, генезисе и изменениях по отношению к языку. Как водится, я начну с происхождения языка.

[25] Энгельс к Иосифу Блоху от 21-22.09.1890. — Marx/Engels 1967. Werke Bd. 37, с. 464.



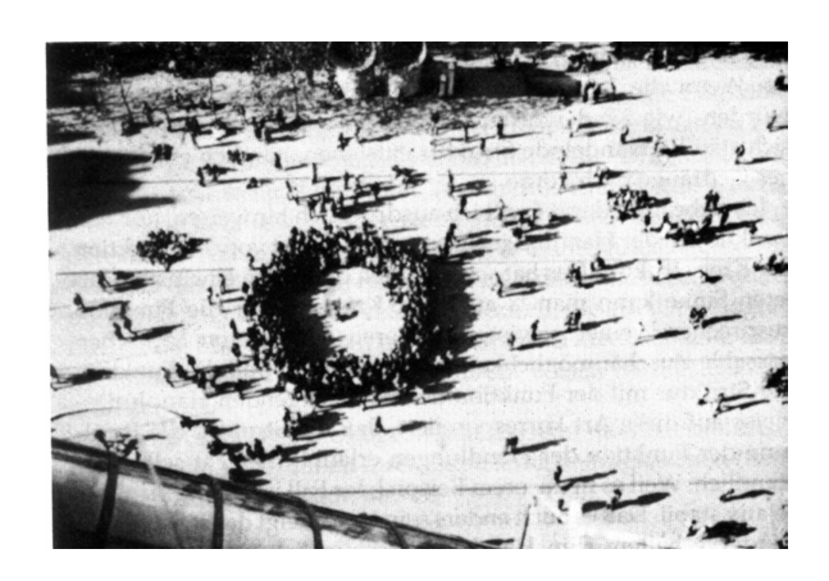
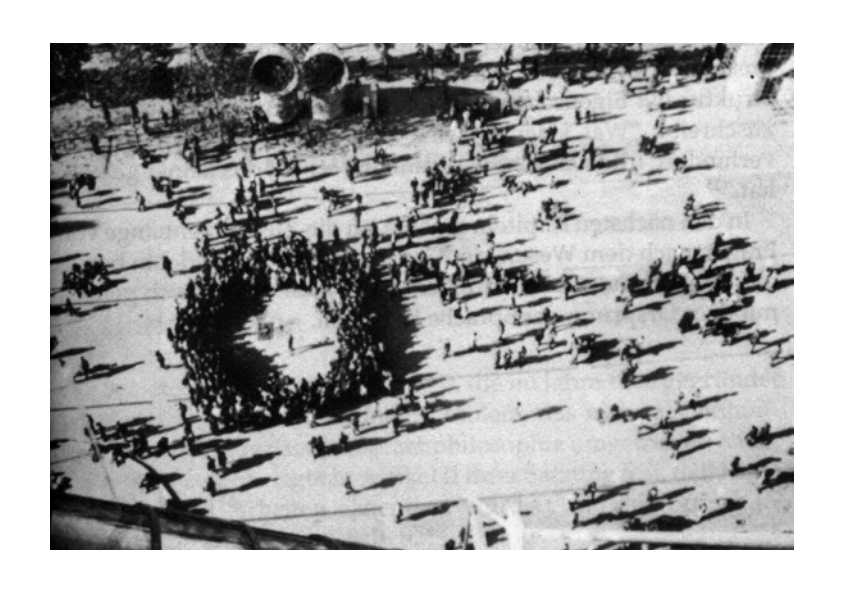
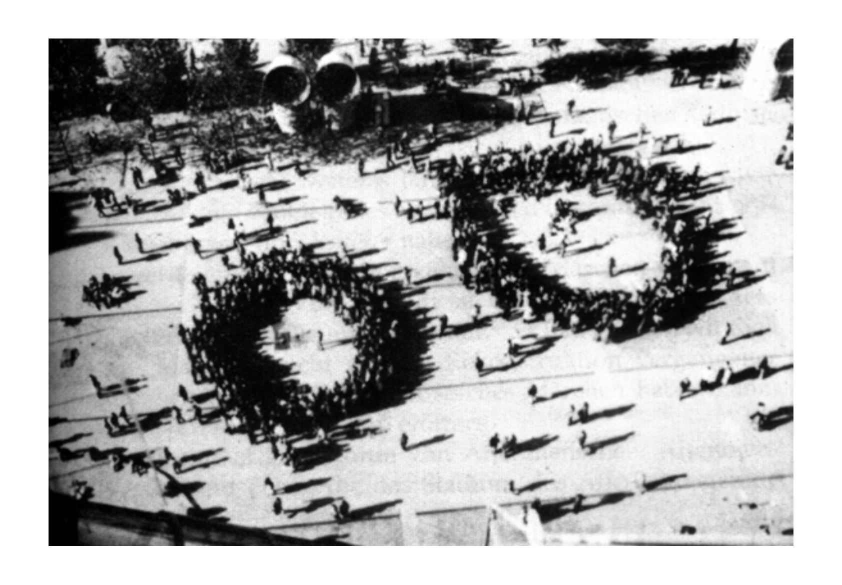


Рис. 1





2. Предполагаемая история

2.1. Происхождение языка. Некая история и ее интерпретация

Парижское Лингвистическое общество, основанное в 1865 году, свершило скорый суд над проблемой, которая занимала европейскую философию языка больше ста лет: в статье II своего устава оно постановило, что не будет принимать доклады и работы, предметом которых является происхождение языков [26].

Так сказать, надоело дикое мышление à la Кондильяк, Зюсмильх, Гердер и как их там еще зовут. Чтобы разделить престиж естественных наук, языковеды тоже должны были обратиться к эмпирии. “Мы должны исследовать то, что есть”, — сказал в 1873 году в одной из своих программных речей президент Лондонского Философского общества Александр Й. Эллис[27].

Между тем прошло еще одно столетие, и мы с некоторой долей облегчения снова можем приблизиться к проблеме так называемого происхождения языка.

Я расскажу одну историю, сказку об обезьяноподобном человеке. Прообраз этой истории представлен в рассказе Штеккера о маленьких существах[28]. Речь идет только о сказке, а не о реконструкции прошедшей ре-

[26] Bulletin de la Societé de Linguistique de Paris 1 (1871), c. III. Ср. Stamm 1976, с. 259.

[27] Цит. по: Stamm 1976, с. 259.

[28] Stecker 1987. Ср. также Heringer 1985.

альности. Какую значимость может иметь такая сказка, я поясню, когда расскажу ее.

Жило-было стадо обезьяноподобных людей. Обезьяноподобные — это люди, которые уже прошли стадию обезьян, но еще не дошли до того, чтобы их можно было без обиняков причислить к людям, так как у обезьяноподобных не было языка. Но у них, как и у их ближайших родственников, человекообразных обезьян, был богатый набор звуковых высказываний. Их холерики резко вскрикивали и рычали, когда пребывали в гневе, хвастуны били себя в грудь и урчали, когда хотели понравиться. Они показывали зубы, если им что-то казалось смешным, издавали урчащие звуки удовольствия и — пронзительно кричали от страха.

Все эти выражения были еще далеки от языковых знаков. Они не служили коммуникации в нашем сегодняшнем человеческом смысле, а были естественным выражением внутренних процессов; это были симптомы жизни чувств, сравнимые с тем, как у нас выступает от страха пот, как мы смеемся, плачем или краснеем. Такими явлениями нельзя сообщать о своих чувствах, но в некоторых случаях можно кое-что о них поведать. Симптомы могут вызывать эффекты, подобные языковым знакам.

В этом стаде был обезьяноподобный человек, несколько обделенный природой. Он был меньше, худосочнее других и чрезвычайно труслив.

Назовем его Карлхайнц.

По причине своей природной слабости, Карлхайнц с детства был вынужден во многих случаях быть немножко хитрее других. Ему нужно было компенсировать недостающую физическую силу и низкий социальный статус, если он не хотел, чтобы другие растирали его в порошок. Случалось, что более сильные просто прогоня-

ли его с места дележа добычи; к лакомым кускам они его тем более никогда не подпускали. Но своей проворностью и быстротой восприятия он нередко мог и компенсировать свою обделенность.

Однажды произошел случай, которому суждено было решающим образом повлиять на будущее всего обезьяноподобного человечества. Стадо мирно пребывало на месте кормежки, наслаждаясь добычей дня. Как всегда, были маленькие стычки и случайная толкотня. Карлхайнца снова оттеснили почти к краю, как вдруг он увидел сквозь листву живой изгороди пару тигриных глаз. Их взгляды встретились. До смерти испуганный, Карлхайнц издал пронзительный крик страха. В то же мгновение стадо бросилось врассыпную. Каждый искал спасения на ближайшем дереве, так как крик страха был симптомом реальной опасности. Это все они усвоили с детства.

Карлхайнц же как будто окаменел. Переживание смертельной опасности сделало его неспособным к бегству. Но к его полному ошеломлению оба тигриных глаза сузились до совсем не тигриного мигания, а их сбитый с толку обладатель удалился. Якобы тигриные глаза принадлежали безвредному кабанчику. Карлхайнц стал жертвой своей буйной фантазии и трусоватой природы.

Но верно ли слово “жертва”?

Когда Карлхайнц, сбитый с толку, беспомощный и несколько посрамленный, огляделся вокруг, он увидел, что он совершенно один, один со всей едой, которую оставили в бегстве другие. Выражение страха на его лице сменилось улыбкой, задумчивой и одновременно хитроватой. Он еще не мог до конца понять все это.

Дни проходили за неделями, и все снова при ежедневных стычках за лучшие куски добычи его охватыва-

ло искушение сознательно повторить то, что случилось с ним нечаянно.

Карлхайнц не мог и подозревать, что это искушение обозначало конец райского состояния общения, идущего от природы.

Наконец, произошло то, что должно было произойти. Опять он должен был смотреть, как самые толстые бонзы стада делили между собой лучшие куски, тогда как он, голодный, в бессильной ярости, сидел на корточках в стороне. И он поддался искушению. Он издал пронзительный крик страха — и снова стадо вместе с ненавистными бонзами с быстротой молнии словно исчезло с лица земли.

И вот перед ним лежали лакомые куски, лежали в изобилии. От волнения Карлхайнц никак не мог успокоиться, чтобы насладиться ими сполна. (Может быть, ему мешало в этом и чувство вины.) Но первый шаг был сделан, и в следующий раз это далось Карлхайнцу легче. Со временем чувствительность его притупилась. Ему понравилась его уловка, и он перестарался.

Не могло не случиться, что скоро его проделки были раскрыты. Когда Карлхайнц по легкомыслию второй раз за день издал свой крик страха, один из людей, убегая, проделал несколько прыжков, случайно остановился, оглянулся назад и тут же тоже набросился на еду. Это немного сбило Карлхайнца с толку, но не вывело из себя, так как во всяком случае, на двоих уж еды было достаточно.

Скоро, однако, и посвященный в обман стал использовать свое знание и — как Карлхайнц — тоже перестарался.

В конце концов, число разгадавших обман, то есть число подражателей, стало расти почти как инфляция.

Коллектив переживал чрезвычайно критическое время. Естественная коммуникация потеряла невинность. Каждый подозревал другого. Бонзы пытались возродить старый порядок, карая за злоупотребление предупреждающим криком. Но однажды приобретенное знание никогда нельзя изгладить из памяти. Более того, каждое новое злоупотребление и каждая новая карающая попытка снова напоминали о нем.

Постоянное злоупотребление криком страха стало угрожать физическому существованию стада. Ведь чтобы выжить, нужно было слепо доверять этому крику. Однако с этим было покончено раз и навсегда.

Кто хотел выжить в это коррумпированное время, тот должен был обладать хорошим слухом. Тому нужно было научиться отличать истинный крик страха от поддельного. Для большинства это было не так уж трудно. Как мы знаем из собственного опыта и из общения с маленькими детьми, нет ничего сложнее, чем правдоподобно плакать, подтасовывая выражение чувств, которые не испытываешь. Чем больше людей научилось отличать оригинал от подделки, тем реже удавалась Карлхайнцу его уловка. Карлхайнц был близок к отчаянию. Почти все знали, что он своим криком хотел добиться только того, чтобы другие убрались восвояси. Это знание привело сначала к тому, что каждый раз, услышав крик страха, эти другие перво-наперво окидывали испытующим взглядом место события, прежде чем решались бежать или остаться. Тем самым это знание открыло совершенно новое измерение в совместной жизни обезьяноподобных людей! Крах возможности подделать крик страха породил возможность новой формы общения. И снова во многом не без участия Карлхайнца.

Однажды, как обычно, все стадо собралось на месте кормежки, чтобы наброситься на собранную и завоеванную добычу. И опять ее скорее недоставало, чем было в избытке. Те, кто и без того был слишком жирен, как всегда сидели в центре и решали вопрос между собой. Они милостиво отдали несколько никудышных кусков своим женам, которым надо было умудриться еще и прокормить ими своих детей. Остальные же — а это была большая часть стада — должны были довольствоваться тем, что успели ухватить. Они не могли в такой день, как сегодня, надеяться на то, что бонзы что-нибудь им оставят. Карлхайнц давно отказался от своих попыток использовать уловку с криком страха. В такой напряженной обстановке, как сегодня, он только навлек бы на себя еще большую немилость. Кроме того, он привлек бы к себе ненужное внимание других. Он уже понял, что если в такой ситуации хочешь что-то заполучить, надо делать это по возможности тайно: незаметно подкрасться, схватить и улизнуть.

Перед лицом этой назойливой проворной толпы воров бонзы были почти бессильны. Прогонишь одного слева, стянут что-нибудь справа. И тут произошло следующее: дрожа от бессилия и гнева, один из бонз распрямился, угрожающе обратил свой взгляд на толпу нищих, особо отметив Карлхайнца, и, рыча, издал крик страха. Он никогда до сих пор не пользовался этой уловкой, потому что она была ему не нужна, а тут в порыве слепой ярости ухватился за нее, давая понять Карлхайнцу и иже с ним, что хочет, чтобы они исчезли.

Ему не нужно было особо стараться кричать так уж правдоподобно. Те, кому не раз удавалось обмануть этим его, — те уж поймут, что́ он имел в виду. Более того, что-

бы достичь цели, его крик должен был быть узнаваем как имитация крика страха.

Он ведь не хотел вызвать у Карлхайнца и других впечатление настоящего страха. Ему нужно было отчетливо показать, что крик не рефлекс его страха, а выражение его воли.

Крик бонзы был первым коммуникативным действием, произведенным когда-либо; первым высказыванием, которое в полном смысле слова представляло собой коммуникацию. Соглашусь, что от крика бонзы до заявления правительства бундесканцлера еще довольно далеко, но самый трудный участок пути был преодолен.

Сказка о Карлхайнце не претендует на реальность, но она сообщает кое-что о реальности. Она показывает, как *мог* возникнуть переход от естественной коммуникации. Речь идет не об исторической реконструкции, а о философской. Верными должны быть не факты, а логика истории. При этом имеет значение следующее:

(а) шаги перехода от естественного крика страха к намеренному коммуникативному акту должны быть объяснимы. Их выводимость не должна содержать ни пробелов, ни скачков;

(б) предпосылки, касающиеся способностей обезьяноподобных людей, должны быть реалистичными. Рассказанная история ничего бы не стоила, если бы она приписывала Карлхайнцу неправдоподобно большие интеллектуальные способности.

Обратимся на минуту к идейным проблемам, над которыми бились теоретики происхождения языка в XVIII веке. Проблемы эти можно понять по конкурсному вопросу, поставленному в 1769 году Прусской Академией наук. Вопрос звучал так: “Способны ли люди, опираясь

только на свои естественные способности, изобрести язык?(...)" [29]. Пропащее дело всерьез заниматься этим вопросом. Сразу окажешься перед дилеммой, с достаточной ясностью сформулированной Иоганом Петером Зюсмильхом в 1766 году: "Язык — это средство для применения разума; без языка или других все равно каких знаков нет разума. Следовательно, кто хочет произвести что-либо разумное, должен применять язык. (...) Язык, или применение звуковых знаков, — это произведение разума.

(...) Следовательно, тот, кто употреблял язык, должен быть разумным существом. Если считать, что человек изобрел язык, то он должен был бы еще до своего изобретения уже владеть языком (...), что однако невозможно"[30]. Зюсмильх сделал из этой дилеммы вывод, что язык мог дать человеку только Бог. Прийти к мысли, что у языка нет *происхождения*, что он является результатом эволюционного процесса, — во времена Зюсмильха было еще невозможно. Вопрос ведь не в том, как полностью развитый человек пришел к полностью развитому языку, а в том, как животная коммуникативная способность до-человека могла превратиться в коммуникативную способность человека.

Наша сказка показывает один из путей. Нет нужды претендовать на утверждение, что это возможно (или с известной долей вероятности) так и было. Достаточно, если это возможно логически; если *не исключено, что* это было так.

---

[29] Цит. по: Arens 1969, с. 120. В оригинале вопрос звучал: "En supposant les hommes abandonnés à leur facultés naturelles, sont-ils en état d'inventer le langage?"

[30] Süßmilch 1766, предисловие, без указания страниц.

Что значит, было “так”? “Так” относится исключительно к последовательности шагов. В действительности развитие охватывало, возможно, больше миллиона лет.

Не слишком ли мало, если нам удается реконструировать только возможную логику последовательности шагов?

Реконструкция логической последовательности шагов в возникновении языка — это больше чем теория *возникновения* языка; это вместе с тем и теория сущности языка; теория того, что мы готовы называть “коммуникацией в человеческом смысле”. Антропологи нового времени, занимавшиеся в XVIII веке философией языка, в своих размышлениях о происхождении языка постоянно забывали об одном: кто хочет размышлять о том, как или когда человек мог прийти к языку в человеческом смысле, тот должен размышлять о том, что́ он готов считать языком в нашем смысле слова. Ведь недостаточно исследовать строение гортани и объем мозга до-человека и первобытного человека, чтобы задаться вопросом о том, возможно ли, чтобы уже у них мог существовать язык. Общаться в каком-то смысле могут, по всей вероятности, все животные. Вследствие этого возникает вопрос о том, какой способ общения можно понимать как коммуникацию в человеческом смысле.

“Общаться в человеческом смысле” означает не то же самое, что “располагать языком в человеческом смысле”. Способность к коммуникации логически предшествует владению языком. Язык облегчает общение, но не является условием возможности общения. Общение с помощью конвенциональных средств, например языковых знаков, — это особый случай коммуникации; даже если он сегодня является для нас нормальным и практически преобладающим способом общения. Мы настолько его

усвоили, что многие считают совместное владение запасом знаков логической предпосылкой (условием возможности) коммуникации вообще. Если бы это было так, нельзя было бы осмыслить ни филогенетическую проблему (каким образом мы как вид пришли к языку), ни онтогенетическую (как маленькие дети могут овладеть родным языком). Ведь построение регулярных гипотез предполагает (среди прочего) удавшуюся коммуникацию.

История о Карлхайнце рассказывает не о возникновении языка, а о предпосылках к этому: о природе и возникновении способности к коммуникации в человеческом смысле.

Генезис этой способности охватывает семь ступеней, которые мы и рассмотрим одну за другой.

Первая ступень

Карлхайнц, как и другие члены стада, обладает способностью производить крик страха. Он не использует этот крик как особое средство. Это реакция на восприятие опасности. Обезьяноподобные люди не в состоянии ни произвести его по своей воле, ни подавить его (чтобы, например, не попасть в поле зрения врага).

Точно так же обстоит дело с поведением во время бегства. Это реакция на восприятие крика страха. В целом все имеет характер цепной реакции: восприятие опасности влечет за собой крик, а восприятие крика влечет за собой бегство. Крик — это естественный симптом страха; это один из признаков трусливого поведения, как, например, у нас одним из признаков трусливого поведения может быть выступивший пот, потребность мочеиспускания или внезапная бледность.

Цепная реакция от восприятия опасности до бегства является типичным примером естественных коммуникативных процессов, протекающих повсюду в живой природе: общение между двумя животными товарищами по виду А и Б имеет место именно тогда, когда А обнаруживает способ поведения, изменяющий вероятность определенного способа поведения Б[31].

Крик страха значительно увеличивает вероятность того, что обезьяноподобный человек со скоростью звука залезет на ближайшее дерево.

В отличие от коммуникации в человеческом смысле крик страха ни к кому не обращен и не нацелен на то, чтобы быть понятым. Ведь он вообще ни на что не нацелен.

Вторая ступень

Карлхайнц обманут. Это может произойти с каждым и не решает дела. Решает то, что он осознает обман, то есть понимает, что причиной бегства других является не опасность, а его крик. Если до сих пор для него, как и для других, опасность-крик-бегство было комплексным, так сказать, целостным событием, то теперь он собирается сделать два следующих открытия:

1. Я могу кричать и тогда, когда нет опасности. И

2. Бегство других — это следствие крика, а не опасности.

Это еще скорее предчувствие, чем открытие. Этим предчувствием прокладывает себе дорогу то, что лингвисты называют "Versetzung" — "смещение" ("displacement")[32], то есть способность артикулировать

---

[31] Ср. Wilson 1975, с. 581.

[32] Lyons 1977/1980, с. 94. См. также Hockett, Altmann 1968.

выражение при отсутствии его референта. Наши дети, произнося первые слова, тоже еще не располагают этой способностью. Оба этих открытия являются необходимой предпосылкой для того, чтобы произвести звук интенционально.

Кому кажется “невероятным”, что Карлхайнц был в состоянии сделать сразу оба открытия, тот может “замедлить” историю, допуская, что он сначала сделал только первое из них. Карлхайнц мог бы, играя, несколько раз повторить его, прежде чем постепенно сделать и второе.

Третья ступень

Карлхайнц использует оба открытия. Он производит крик страха с намерением обратить других в бегство, чтобы одному распоряжаться пищей. Тем самым обезьяний человек в первый раз совершил действие. Но это было еще далеко не коммуникативное действие. Оно, тем не менее, было интенциональным и направленным; это приближает его к коммуникативному действию. Следующая схема иллюстрирует действие Карлхайнца:

говорящий S (Sprecher) делает A с намерением
(1) побудить слушающего H (Hörer) к реакции R.

В нашей схеме (1) ничего не сказано о том, каким образом осуществляется задуманная реакция. В нашем случае можно предположить, что бегство является условной реакцией на крик страха. Люди тоже иногда поступают по схеме (1): хлопают в ладоши, чтобы прогнать воробьев; рисуют на рекламном плакате полуголую женщину, чтобы привлечь к нему взгляды, — все это только некоторые тому примеры.

Четвертая ступень

Карлхайнц слишком часто пользуется своим обманом и тем самым провоцирует процесс потери бдительности. Условная связь ослабевает. Возникает то, что называют “замедленной реакцией”. Никто больше не разбегается вслепую. Между восприятием крика и бегством вклинивается момент удостоверения. С этим связано большое открытие, похожее на открытие Карлхайнца на второй ступени. Тот, кто больше не убегает вслепую, осознает на опыте, что его обращает в бегство не опасность, а крик или что опасность и крик — не обязательно части одной единственной ситуации. Он как слушатель открывает то, что Карлхайнц открыл как крикун. Оба эти связанные друг с другом открытия представляют собой решающие шаги на пути от вынужденного поведения-реакции на раздражитель к свободному коммуникативному действию. Они означают освобождение от власти стимула. Раз уж кто-то другой был освобожден от принуждения к бегству, то скоро он и сам мог применять эту уловку. Тем самым он превратился из сотрапезника в посвященного в знание.

Пятая ступень

Если уж кто-то отказался от бегства, услышав крик, то освобождение от этого стимула к бегству вскоре научит его и чему-то другому. Момент удостоверения, замедленная реакция станет нормой поведения. Для любого обезьяноподобного человека X и для любого обезьяно-

подобного человека Y в конце концов станет обычным следующее.

Y знает, что X имитирует крик страха с намерением вызвать у Y реакцию бегства, чтобы изгнать его с места кормежки. X знает об Y то же самое.

Если X кричит, а Y не убегает, то X со временем поймет, что Y разгадал его уловку; это означает, что Y не убегает именно потому, что он знает, что X сымитировал крик страха, чтобы обратить Y в бегство.

Если Y разгадал X и если X знает об этом, то и X разгадает Y, когда тот попытается применить уловку, а Y, в свою очередь, тоже поймет это. Тем самым опять будет сделан решающий шаг.

Если обозначить через "p" предложение "Сымитированный крик страха служит для того, чтобы обратить другого в бегство", то достигнутый уровень знаний X и Y можно изобразить следующим образом:

1. X знает, что p.
1'. Y знает, что p.
2. X знает, что Y знает, что p.
2'. Y знает, что X знает, что p.
3. X знает, что Y знает, что X знает, что p.
3'. Y знает, что X знает, что Y знает, что p.

В нашей истории это означает: каждый знает уловку (1 и 1'); каждый знает, что и другой тоже знает уловку (2 и 2'); и каждый знает, что другой его разгадал (3 и 3').

Такую структуру знаний называют общим (или коллективным) знанием[33].

---

[33] Ср. Keller 1974.

Шестая ступень

Когда было достигнуто коллективное знание по отношению к уловке с криком страха, она стала несостоятельной. Тут история подошла к критической точке. С этого момента стадо могло быть обречено на гибель, поскольку естественный механизм предупреждения больше не функционировал. Другая возможность могла состоять в том, что устаревшую уловку забыли и стадо опять вернулось бы к первобытному состоянию коммуникации. (В обоих случаях мы никогда ничего не услышали бы о Карлхайнце.)

В нашей истории наступила дифференциация. Большинство научилось отличать настоящий крик страха от поддельного. Если от случая к случаю кто-нибудь и принимал настоящий крик за поддельный или поддельный за настоящий, то, хотя это и было для отдельного обманутого обидно или смертельно, но это не угрожало существованию стада в целом. Стадия, на которой способность к имитации использовалась исключительно с обманным намерением, могла продолжаться очень долго. Способность как таковая до сих пор не забыта; мы называем ее “лицедейством” или “притворством”.

Знание об умении имитировать крик страха, вероятно, повысило бдительность воспринимающего. Он теперь не слушал, а прислушивался. С другой стороны, это коллективное знание сделало возможным решающий шаг от манипулирования этой способностью к ее коммуникативному использованию.

Седьмая ступень

Седьмой шаг — крошечный шажок, но он стал решающим.

Если я во время доклада хочу потихоньку дать понять своей жене, что мне от него смертельно скучно, я могу это сделать, повернувшись к ней и изображая зевок. Симуляция зевания должна удовлетворять двум условиям:

(а) Она должна быть узнаваема как симуляция *зевания*.

(б) Она должна быть узнаваема как *симуляция* зевания.

Это означает, что она должна быть достаточно похожа на настоящее зевание и достаточно от него отличаться.

Как раз этими свойствами и обладал (mutatis mutandis) крик "страха" бонзы. Похожесть его крика на настоящий проясняла, *что* входило в его намерение (обратить других в бегство). Отличие лицедейского крика от настоящего делало его узнаваемым и тем самым проявляло две вещи: (а) *что* он *имел в виду*, и (б) *что* другие *должны были заметить*, что он это имеет в виду.

Действие бонзы являет тем самым пример следующей схемы:

S делает A с намерением

(1) побудить H к реакции R,

(2) дать понять H, что S преследует намерение (1) и

(3) дать понять H, что S хотел бы, чтобы H сделал R (хотя бы отчасти) по той причине, что он понял намерение (1).

Это формулировка (одна из многих) так называемой основной модели Грайса. Она определяет, что значит общаться в человеческом смысле. Совершение действия A представляет собой (только тогда [34]) попытку S общаться с H, если он тем самым добивается реализации намерений (1), (2) и (3).

Крик нашего бонзы удовлетворяет этому условию: он произвел лицедейский крик с намерением

(1) обратить Карлхайнца в бегство,
(2) дать понять Карлхайнцу, что он хочет обратить его в бегство, и
(3) дать понять Карлхайнцу, что причиной его бегства должно быть понимание упомянутого в (2).

Карлхайнц понимает бонзу только в том случае, если он понял его намерения.

Если все прошло хорошо, то тем самым мы доказали следующее: не исключено, что способность общаться в человеческом смысле могла постепенно развиться из способности общаться в животном смысле [35]. Кроме того мы показали, в чем состоит общение в человеческом смысле и что для этого не обязателен язык. Бонза дал понять, чего он хотел, с помощью неконвенциональных иконических средств. Использовать язык — значит использовать конвенциональные средства, чтобы дать другим

[34] “только тогда”, возможно, не соответствует истине, поскольку эта формулировка, по всей видимости, недостаточна. Чрезвычайно обстоятельная дискуссия по поводу основной модели Грайса здесь неуместна. См. об этом Meggle 1979.

[35] “И есть языки животных, которые являются предшественниками человеческого языка — в противовес Хомскому” (Popper/Eccles 1977/1982, с. 53).

понять, чего от них хотят. Само собой разумеется, эти средства могут иметь иконическую, частично иконическую или совсем неиконическую природу.

2.2. Парадокс Мандевиля

Наша история несет в себе парадоксальные черты. Разве мог такой благословенный и по своей природе кооперативный институт как язык возникнуть из стремления надуть кого-то? Не убедительнее ли допустить, что языковая способность возникла из желания поддерживать друг друга, понимать друг друга, например, для оптимизации успешной охоты[36]?

“Из всех живых существ только человеку дано было заговорить, так как только ему это было нужно”, — писал Данте в своей работе “De vulgari eloquentia” (“О сочинении на родном языке”)[37] примерно в 1305 году.

В 1710 году Лейбниц все еще придерживался аналогичного мнения: “Я думаю, что без желания понять друг друга мы в самом деле никогда не выработали бы языка”[38], — писал он в своем Берлинском трактате “De originibus gentium ductis potissimum ex indicio linguarum” (“Краткие соображения об истории народов, главным образом, на основе языковых наблюдений”).

В деле есть две загвоздки. Желание, потребность или нужда еще не объясняют наличия чего-то. От желания летать у нас не вырастают крылья, а желание вечного мира уже не раз преподносило человечеству войну. К тому

[36] Ср., например, Hildebrand-Nilshon 1980.

[37] Цит. по: Arens 1969, с.56.

[38] Цит. по: Arens 1969, с.95 (оригинал в: Miscellania Berolinensia, Berlin, 1710, с. 1-16).

же следовало бы объяснить, как могло без языка возникнуть всеобщее желание понимать друг друга.

Короче говоря, я думаю, что этот подход, кажущийся поначалу приемлемым, допускает слишком натянутые предпосылки. История о Карлхайнце предполагает, что вначале было только желание утолить голод. Объяснительная сила тем более возрастает, чем слабее предполагаемые допущения. Кроме того, в истории используется старая мыслительная фигура, структуру и происхождение которой я хотел бы несколько подробнее изложить ниже.

Если мы посмотрим на мир, в котором живем, то увидим, что есть народы с высокоразвитыми технологиями и есть народы с менее развитыми технологиями. Одни народы обрабатывают поля мотыгой и мускульной силой, другие — машинами и тракторами. Те, у кого есть машины и тракторы, производят больше и живут богаче тех, у кого только мотыги и мускулы.

Итак, можно было бы привести следующие аргументы:

I. На свете есть более прилежные и более ленивые. Более прилежные стремятся к большему, изобретают машины и моторы и тем самым в конечном счете становятся богаче. Таким образом, их богатство является следствием их прилежания.

Но можно было бы привести и такие аргументы (осторожности ради хочу сказать, что обе аргументации имеют здесь шуточный характер):

II. На свете есть более прилежные и более ленивые. Более ленивые всегда были слишком ленивы, чтобы мотыжить землю и обрабатывать поля мускульной силой. Их леность побудила их к тому, чтобы выдумывать для облегчения работы всевозможные вещи. Так они изобрели в

конце концов машины и тракторы, чтобы полностью освободиться от работы мускульной силой. Более прилежные, напротив, никогда не считали за труд сделать что-то своими руками. И так они до сих пор еще мотыжат землю. Таким образом, их бедность является следствием их прилежания, а богатство других — следствием их лености.

Итог: богатство и высокоразвитые технологии являются следствием лености человечества.

Что общего между аргументом II и историей о Карлхайнце? Три момента: парадоксальная структура, скрытый цинизм и сила аргументации.

Полезные общественные феномены, оцениваемые положительно, объясняются как следствия мотивов, осуждаемых членами общества. В этом парадокс данной мыслительной фигуры. Она становится циничной, если ее (недопустимым образом) обратить на прогнозы и извлекать при этом моральные правила: если хочешь чего-то достичь, будь ленивым, так как более прилежные остаются бедняками.

Сила аргументации определяется слабостью допущений. Предположение, что обезьянолюди своекорыстны и прожорливы, ближе к действительности, чем предположение, что они бескорыстны и готовы к помощи. Если можно объяснить возникновение позитивного явления, даже предположив, что люди действовали, исходя из плохих мотивов, то почему бы этого не сделать. Если среди этих мотивов окажется несколько хороших, то это не повредит.

Эту мыслительную фигуру называют парадоксом Мандевиля. Она носит имя человека, который, как представляется, оказал на европейскую мысль гораздо большее

влияние, чем позволяет предположить степень его известности. Фридрих Август фон Хайек приписывает ему даже то, что его размышления “обозначили окончательный прорыв к современному мышлению через идею эволюции и близкую ей идею образования спонтанных порядков”[39].

Кто этот человек и в чем состоит его вклад в нашу постановку вопроса?

Его зовут Бернард (де[40]) Мандевиль, он родился в 1670 году в Роттердаме или недалеко от него и был отпрыском уважаемой и состоятельной гугенотской семьи. В 1689 году он стал доктором философии, два года спустя доктором медицины, и то, и другое произошло в Лейдене.

Чтобы выучить английский, он отправился где-то в 1696 году в Англию, три года спустя женился там на англичанке и остался до конца своих дней. Он имел практику как невропатолог и терапевт. В январе 1733 года умер в Хакни, недалеко от Лондона.

Мандевиль опубликовал за свою жизнь значительное количество работ[41]. Нас интересует здесь однако только одна из них: “Басня о пчелах”.

То, что впоследствии стало скандальной книгой, началось довольно безобидно. В 1705 году шестипенсовым изданием (и сразу же в подпольной перепечатке) появилась зарифмованная ломаным стихом сатира на современное английское общество под названием “The Grumbling Hive: or, Knaves Turn'd Honest” (“Возроптавший улей, или Мошенники, ставшие честными”):

[39] Von Hayek 1969, с. 127 и далее.
[40] С 1704 года он отказался от “де”.
[41] См. список его работ в: Mandeville 1980, с. 437 и далее.

“These Insects liv'd like Men, and all
Our Actions they perform'd in small”
(“Эти насекомые были во всем подобны людям
и все наши действия осуществляли в миниатюре”)*

Это “было, вероятно, не больше, чем упражнение в новом языке, который он полюбил и которым овладел за такое короткое время”[42]. Содержание стихотворения несложно. Взрывную силу придавала ему мораль рассказанной истории.

Пчелиный улей жил в роскоши и довольстве; торговля, искусства и науки процветали, но среди граждан едва ли можно было найти одного порядочного. Они были ленивы, продажны и тщеславны; среди них были “плуты, тунеядцы, сутенеры, шулера, карманники, фальшивомонетчики, шарлатаны и гадалки”. Юристы, врачи, солдаты и министры — все они были в конце концов “мошенники”.

“Все профессии и должности не обходились без обмана.
И не было ни одного занятия, где бы не плутовали”.

Но тем не менее общество процветало, так как при ближайшем рассмотрении эти пороки оказывались

[42] Von Hayek 1969, с. 128.

* Перевод “Басни о пчелах” приведен по изданию: Мандевиль, Бернард. “Басня о пчелах”/ Пер. Е.С.Лагутина.- Москва: Мысль, 1974. — *Прим. перев.*

“двигателями торговли” и причиной всеобщего благосостояния:

> “...каждая часть улья была исполнена пороков,
> Но в целом он являлся раем”.

Короче говоря:

> “...порок воспитывал изобретательность”.

Вот это и является прообразом парадокса Мандевиля.

Благосостояние народа было результатом не добродетелей граждан, а их дурных наклонностей и пороков.

История, однако, имеет продолжение. Когда, наконец, кое-кто еще и пожаловался Богам на недобродетельность сограждан (охотно прощая себе свою собственную),

> “Юпитер, движимый негодованием,
> в гневе поклялся,
> Что избавит рассерженный улей от мошенничества,
> И сдержал свое слово”.

Но тем самым был предначертан закат пчелиного роя: юристам больше нечего было делать, остались безработными кузнецы и палачи.

> “Священники, стряхнув лень, перестали перекладывать
> Свои обязанности на дьячков

И, свободные от пороков, сами служили
Богам".

Торговля и ремесла приходят в упадок и, наконец, пчелы коротают свою жалкую, но "чистую жизнь" в дупле дерева,

"Счастливые своим довольством и чест-
ностью".

Мораль истории:

"... только глупцы стремятся
Сделать великий улей честным.
Наслаждаться мирскими удовольствиями,
(...)
Не имея больших пороков, —
это пустая утопия".

И наконец:

"Кто хотел бы возродить золотой век,
Должны быть готовы не только стать че-
стными,
Но и питаться желудями".

В 1714 году, через девять лет после опубликования этого стихотворения, оно было снабжено комментариями к отдельным стихам, значительно расширено в объеме и напечатано заново под названием "Басня о пчелах: Пороки частных лиц — блага для общества" ("The Fable of the Bees: or, Private Vices Publick Benefits"). С этого момента текст стал известен и вызвал скандал. До

1732 года, постепенно обогащаемый дополнениями, он выдержал еще семь изданий. В 1729 году первый том был дополнен вторым, который появился под заглавием “The Fable of the Bees, Part II. By the Author of the First” (“Басня о пчелах. Часть II, написанная автором первой”).

Труд в целом носил характер социально-философского трактата, к которому первоначальное стихотворение служило только поводом. Лейтмотивом трактата было, что отдельный порок — от пьянства до тщеславия, от лени до проституции — вносит благословенный вклад в благоденствие и процветание общества.

Это действительно скандальная мысль.

Можно понять, почему в 1723 году один суд нашел, что “эти принципы (...) имеют непосредственную тенденцию к ниспровержению всякой религии и буржуазного господства, к устранению всякого чувства долга по отношению ко Всевышнему и всякой любви к Отечеству”[43].

Даже и сегодня басня о пчелах продолжает раздражать некоторых читателей. Так, например, Мюнстерман пишет в своей диссертации “Басня о пчелах”[44]: “Этот забытый гугенот является приверженцем и глашатаем натурализма, — мировоззрения, как прежде развивающего свою разрушительную силу, самым радикальным представителем которой в области политики следует считать современное советское государство. (...) В предлагаемой работе мы попытаемся доказать, что натуралистская философия Мандевиля в высшей степени недостаточна,

[43] Mandeville 1980, c. 403.
[44] Münstermann 1960.

чтобы извлекать из нее уроки миропонимания и устройства миропорядка."[45].

Вернемся после этого экскурса снова к тем аспектам учения Мандевиля, которые скорее благословенны для миропонимания.

В чем они состоят? Какое отношение все это имеет к языку и к теории его возникновения и развития?

В процессе разработки и комментирования описанного парадокса оказалось, что он представляет собой частный случай более общего феномена. Открытие, что устремления индивидуумов, подлежащие моральному осуждению, на уровне общества в целом могут иметь последствия, заслуживающие всяческого поощрения; что "пороки частных лиц" могут означать "блага для общества", — это открытие содержало в зародыше понимание того, что есть общественные феномены, которые вызываются действиями индивидуумов, хотя эти последние вовсе не намеревались их вызвать. То, что делало мысль Мандевиля такой скандальной, так сказать, открытие "той силы, которая постоянно хочет злого, а создает доброе", как переформулировал парадокс Гете[46], не играло больше никакой роли в последующих философских применениях, и в нашем случае тоже.

"Злые" действия могут порождать "добрые" структуры, так же как "добрые" действия могут порождать "злые" структуры. Примером тому может служить создание института пыток, мучительных допросов, введение из благородных побуждений запрета наказывать людей на основе косвенных улик смертной казнью. Можно

[45] Münstermann 1960, с.1.

[46] Первый немецкий перевод "Басни о пчелах" появился в 1761 году.

легко найти примеры для всех четырех комбинаций “злого” и “доброго”.

Урок, который мы можем извлечь из обобщения парадокса Мандевиля, состоит в том, “что вопрос о *мотивах* индивидуальных действий (должен быть) решительно отделен от вопроса о *социальных последствиях* этих действий ”[47].

Эта мысль принимается во внимание в истории о Карлхайнце. Она имеет решающее значение для теории языка.

2.3. Conjectural History

“Когда люди следуют мгновенному порыву духа, стремясь удалить нечто неприятное или достичь видимых преимуществ, они часто оказываются у таких целей, которые не могла предвидеть даже их фантазия”. Так писал в 1767 году Адам Фергюсон[48], философ так называемой шотландской школы. Заслугой шотландских философов того времени является то, что они сделали мысль Мандевиля лейтмотивом социально-философских размышлений и сформулировали ее с достаточной ясностью. Дальше Фергюсон пишет: “Каждый шаг и каждое движение масс навстречу будущему даже во времена, которые называют просвещенными, делается все же вслепую, и нации натыкаются в темноте на *сооружения, которые на самом деле являются результатом человеческой деятельности, а не воплощением плана, задуманного человеком”* (“...and nations stumble upon establishments, wich are indeed the result of human action, but not the execution of any human

[47] Vanberg 1982, c. 43.
[48] Ferguson 1767/1904, c. 170.

design")[49]. Тем самым Фергюсон, как замечает фон Хайек, "дал не только лучшую краткую формулировку основной мандевилевской проблемы, но и лучшее определение задачи любой социальной теории"[50].

Как бы там ни обстояло дело с задачами других социальных теорий, для языкознания, если считать его социальной теорией, оценка фон Хайека совершенно справедлива. Язык в самом деле представляет собой "the result of human action, but not the execution of any human design". В каком смысле следует это понимать, я поясню в главе 4.1.

Мандевиль в своей басне о пчелах не только подвел к открытию феноменальной области, которую многие считают основным предметом социальных наук, но и представил способ объяснения таких феноменов. О разработке мандевилевской идеи снова позаботились философы-моралисты шотландской школы.

Дьюгалд Стюарт (1753-1828), как все философы шотландской школы, задумывался над возникновением и динамикой общественных институтов. Если сравнить духовные способности, нравы и общественные учреждения нашего времени и какого-нибудь дикого племени, пишет Стюарт, то невольно возникает вопрос "by what gradual steps the transition has been made from the first simple efforts of an uncultivated nature, to a state of things so wonderfully artificial and complicated. Whence has arisen the systematical beauty which we admire in the structure of a cultivated language; (...) Whence the origin of the different sciences and of the different arts?"[51] ("какими постепенными ша-

---

[49] Ferguson 1767, с. 187/1904, с. 171 (курсив мой — Р.К.).

[50] Von Hayek 1969, с. 141 и сл.

[51] Stewart 1858/1971, с. 33; Peardon 1966, с. 14 ("Прочитано у м-ра Стюарта 21 января и 18 марта 1793г.").

гами был сделан переход от первых простых усилий невозделанной природы к состоянию таких прекрасно сделанных и сложных вещей. Откуда взялась системная красота, которой мы наслаждаемся в структуре развитого языка; (...) Где источник различных наук и искусств?") В вопросах подобного типа история вряд ли нам поможет, вынуждая нас заменять факты предположениями ((to supply) "the place of fact by conjecture"). Как пишет Стюарт дальше, если невозможно реконструировать процесс, в результате которого *возник* определенный феномен, то во много раз важнее показать, как он *мог возникнуть*. Конечно, у этого есть определенные недостатки, так как "it is impossible to determine with certainty what the steps were by which any particular language was formed" ("невозможно с уверенностью определить, какие именно шаги сформировали каждый отдельный язык"). Если все же, опираясь на наше знание принципов человеческой природы, удастся показать, как могли постепенно возникнуть отдельные части языка, то будет не только до определенной степени удовлетворен наш разум, но и будет нанесен удар той ленивой философии ("indolent philosophy"), которая всегда, когда она не способна к объяснению, обращается к чуду. "To this species of philosophical investigation which has no approrpriate name in our language, I shall take the liberty of giving the title of *Theoretical or Conjectural History*."[52] ("Этому виду философских исследований, которому в нашем языке еще нет подходящего имени, я возьму на себя смелость дать имя *Теоретической,* или *Предположительной, Истории ").*

[52] Stewart 1858/1971, c. 34. Историко-философскую оценку ср. Kittsteiner 1980, c. 179 и далее.

Предположительная история, как неоднократно подчеркивает Дьюгалд Стюарт, является не историческим, а философским исследованием. История о Карлхайнце — это предположительная история. Она показывает, как могла возникнуть способность к коммуникации в человеческом смысле. Она показывает все это с наименьшими потерями — только на основе признанных способностей, не впутывая ни Бога, ни чудеса. Однако история о Карлхайнце — это предположительная история особого рода. Басня о пчелах также может быть признана предположительной историей особого рода. Их особенность основана на способе объяснения. Обе истории — это предположительные истории возникновения таких "сооружений", которые, говоря словами Фергюсона, являются результатом человеческой деятельности, а не выполнения человеческого плана: коммуникативная способность в одной истории, материальное благосостояние в другой.

Предположительные истории этого рода имеют совершенно поразительную особенность. Рассмотрим историю, которая является, вероятно, самой известной в своем роде, в честь которой, собственно, и назван этот тип предположительной истории. Она берет начало тоже от философа-моралиста шотландской школы, от Адама Смита. В произведении "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation" ("Исследование природы и существа здоровья нации"), появившемся в 1776 году, Смит рассуждает о привилегиях монополий, которые вредно воздействуют на национальную экономику. В этой связи он среди прочего пишет:

"Ежегодный доход всякого общества всегда равен меновой стоимости совокупного годового продукта его производителей или, выражаясь лучше, он и есть сама эта меновая стоимость. Так как каждый пытается в силу

своих возможностей так распорядиться своим капиталом в отечественном производстве и самим этим производством, чтобы его продукт получил наибольшую стоимость, то это вынуждает его и работать в том направлении, чтобы, насколько возможно, увеличить годовой доход общества. Тем не менее, он не стремится, как правило, к тому, чтобы улучшать всеобщее благосостояние и не знает, насколько он его улучшает. Предпочитая отечественное производство иноземному, он имеет в виду только свою собственную безопасность, а управляя этим производством таким образом, чтобы его продукт получал наивысшую стоимость, он преследует только свою собственную выгоду и направляем в этом, как и во многих других случаях, невидимой рукой, ведущей его к цели, достижение которой никоим образом не входило в его планы. Но общество не страдает от того, что все происходит именно так. Преследуя свой собственный интерес, он содействует общественному намного действеннее, чем если бы он планировал содействовать последнему"[53].

Здесь мы имеем дело, так сказать, с серьезной версией мандевилевского парадокса. Если в басне о пчелах пороки отдельных личностей карикатурно преувеличены и рассматриваются как мотивы, ведущие к созданию всеобщего благоденствия, то у Адама Смита его создает стремление к "собственной безопасности" и своекорыстие.

Не пускаясь в дискуссию о свободном рыночном хозяйстве, необузданности и просвечивающем в последнем предложении цитаты эволюционном оптимизме, я хотел бы пояснить структуру аргументации Смита:

[53] Smith 1776/1920, с. 235 и сл.

(1) Купцы обычно преследуют только собственные интересы.
(2) Каждый купец (если ему позволит государство) так распорядится своим капиталом, что он принесет оптимальную выгоду при оптимальной безопасности.
(3) Оптимальная выгода отдельных купцов неизбежно приведет к оптимальному доходу всего общества, то есть к оптимальному благосостоянию.

(1) — это предпосылка о природе человека вообще и купцов в особенности. (2) — это приемлемая гипотеза об образе действия индивидуумов на основе общей предпосылки (1) о человеческой природе и особых обстоятельствах. (3) — это своего рода “высший расчет” коллективных последствий, которые с неизбежно наступят (наступили бы), если бы большинство купцов действовало согласно гипотетическому правилу (2).

Вот и объяснение генезиса народного благосостояния, в то же время проясняющее его природу и сущность. Этот тип объясннения, следуя за метафорой Адама Смита, называют Invisible-hand-Erklärung или объяснением посредством невидимой руки. В качестве предварительного итога мы можем утверждать:

Объяснение с помощью невидимой руки — это предположительная история феномена, который является результатом человеческой деятельности, а не выполнением человеческого плана.

3. В плену противоположностей

3.1. Природа — антипод искусства, инстинкт — антипод разума

С открытием таких феноменов, которые являются результатом человеческих действий, а не воплощением человеческих планов, с самого начала вплоть до настоящего времени связана точка зрения, что к их феноменальной области принадлежат и человеческие языки. Это относится и к способу объяснения таких феноменов — предположительной истории, или объяснению с помощью невидимой руки.

“Из теорий этого типа, — пишет Фридрих Август фон Хайек, — до сих пор развивалась единственно только экономическая теория, теория рыночного упорядочения свободных человеческих обществ; и вместе с *лингвистикой* (курсив мой — Р.К.) она, вероятно, одна из немногих наук, которые из-за своеобразной сложности своего объекта нуждаются в такой тщательной разработке. Вся экономическая теория (как, впрочем, и лингвистическая) может быть понята как попытка реконструировать характер некоторого порядка из закономерностей индивидуального поведения. Однако несмотря на это едва ли можно сказать, что отечественные экономисты полностью осознают это как свою задачу”[54].

[54] Von Hayek 1969, с. 150.

Последнее замечание можно спокойно отнести и к лингвистам. Можно даже сказать, что размышления шотландских философов-моралистов скорее всего были неизвестны языковедам XIX и XX веков. Это тем более удивительно, что практически ни один из философов не упустил случая развернуто писать о языке. Есть ли объяснение этому упущению?

Наша культура несет на себе отпечаток противоположностей. Противоположности определяют наше мышление: Бог и черт, небо и ад, хорошо и плохо, язык и речь, природа и искусство, чувство и разум и многие другие.

Как оказалось, противоположности "природа — искусство" и "инстинкт — разум" особенно тормозят понимание того, что есть культура и что есть язык.

Предположение, что мир делится без остатка на две исключающие друг друга предметные области: на область вещей, которые идут от природы, и вещей, сделанных человеком, то есть искусственных, — так же старо, как сама европейская мысль. Оно нашло философское выражение в платоновском различении physei и nomʋ (природа — закон) или в аристотелевском различении physei и thesei (природа — традиции, законы). В наши дни оно встречается в таких дихотомических различиях, как "естественный язык — искусственный язык", "естественные факты — подобранные факты", "законы — правила", — примеры можно продолжить. Например, Макс Мюллер (1892) пишет: "Существуют два основных раздела человеческой науки, которые могут называться физическим и историческим, в соответствии с материалом, лежащим в их основе. Физическая наука, как говорили раньше[55], имеет

[55] Вставка "как говорили раньше" еще отсутствует в издании 1866 г.

дело с творениями Божьими, а историческая наука — с человеческими”[56]. А Анри Фрей замечает в 1929 году: “Грамматические правила не имеют ничего общего с лингвистическими законами; первые являются конвенциональными (thesei on), вторые — естественными (physei on)”[57].

К противоположности “естественный — искусственный” существует родственная и не менее вводящая в заблуждение параллель: “инстинкт — разум” или “чувство — разум”. Как на предметном уровне артефакты отличаются от естественных феноменов, так на поведенческом уровне разумное поведение отличается от инстинктивного или чувственного. И при этом сбрасывается со счета, возможно, самая великолепная и уж, конечно, решающая человеческая способность — способность создавать обычаи и традиции, способность к поведению, управляемому правилами.

Когда я правильно образую немецкое предложение, или с содроганием отвергаю собачье мясо, или ношу брюки, а не юбки, или предпочитаю есть, сидя на стуле, а не на полу, я следую тем самым разуму или инстинкту? Ни тому, ни другому! Я следую традициям, которые сложились в данной стране; я следую социальным правилам.

“Это неправильное разделение на ‘естественный’ и ‘искусственный’, — пишет фон Хайек, — так же, как похожее и родственное ему разделение на ‘чувство’ и ‘разум’, в высшей степени ответственны за достойное сожаления невнимание к процессу культурной эволюции, который в своих существенных чертах является внесоматическим и порождает моральные традиции (мы можем здесь

---

[56] Müller 1982, с. 20.
[57] Frei 1929, с. 24.

дополнить: и человеческий язык — Р.К.), определившие возникновение цивилизации”[58]. В сочинении “Переоцененный разум” фон Хайек показывает, что разум и интеллигентность — не предпосылки для установления системы правил, а их следствие. По способности человека к планомерным, разумным действиям можно судить о существовании систем социальных правил. “Истинная альтернатива чувства — не разум, а следование традиционным правилам, не являющимся продуктом разума” [58].

Не нужно быть умным, чтобы следовать правилам или способствовать установлению обычаев. Мы следуем правилам не потому, что мы знаем, что делать это разумно. Правилам следуют, потому что так делают другие. Обычно мы не знаем ни пользы, ни функций определенной системы правил, определенного обычая и не можем оценить, что случилось бы, если бы мы отменили их или заменили другими. История “успешных” миссионерских начинаний дает бесчисленные примеры непредсказуемых и во многом катастрофичных последствий “разумного” вмешательства якобы цивилизованных в якобы примитивные обычаи якобы дикарей. “Усвоение поведения — это не результат понимания, а скорее его источник. Человек приобретает разум, потому что существует традиция, которую он может усвоить”[59].

Поведение, руководимое разумом, “видит”. Правилам мы следуем “слепо”, как и нашим инстинктам[60]. Социальные правила становятся как бы нашей второй натурой[61]. Они часть моего Я; ведь в самом деле не всегда так уж

---

[58] Von Hayek 1983, с. 170. Ср. также von Hayek 1988, гл. 1.

[59] Von Hayek 1983, с. 166.

[60] Wittgenstein 1960, § 219.

[61] На это указывал уже Цицерон: Consuetudine quasi alteram guandam naturam effici. (De Finibus Bonorum et Malorum V. 25.74.)

просто выяснить, управляется ли определенный способ поведения врожденными инстинктами или “социализованными” правилами. Чтобы действовать разумно, надо уметь предвидеть, так как разум — это способность разрешать проблемы, не прибегая к методу проб и ошибок. Чтобы следовать правилам, не нужно ничего предвидеть. Достаточно посмотреть на проблему в ретроспективе и причислить ее к одному из типов, уже имевших место.

Правила могут оправдать наши действия. Но что оправдает наши правила? Они не нуждаются в оправдании, так как сами представляют собой основу оправдания и тем самым основу рациональных действий. Способность руководствоваться правилами как с фило-, так и с онтогенетической точки зрения предшествует способности руководствоваться разумом. Дети развивают ритуалы и действуют по ним задолго до того, как они будут в состоянии руководствоваться в своих действиях разумом. Обычай стоит между инстинктом и разумом.

Зачем человеку способность следовать обычаю? Вопрос поставлен некорректно. Тем людям, у которых она была (неважно по каким причинам), она приносила пользу. Способность следования обычаю включает прежде всего способность усваивать сверх врожденных реакций и способа поведения еще и способ поведения собратьев по виду; то есть вести себя в похожих случаях, как другие или как некоторые другие. “Значительное продление детского и юношеского возраста было, пожалуй, последним решающим шагом биологической эволюции, который привел к тому, что усвоенные правила стали преобладать над врожденными реакциями”[62].

---

[62] Von Hayek 1983, c. 165.

Между прочим: в некоторых идеологически нагруженных спорах нередко создается впечатление, как будто возникает вопрос, чего больше — “врожденного” или “усвоенного”. То есть, создается впечатление, как будто речь идет об оппозиции, в которой “больше” на одном полюсе имеет следствием “меньше” на другом. Это не так[63], поскольку всякое усвоение предполагает врожденную способность к этому. Даже если не принимать во внимание случай, что сама способность к усвоению может быть усвоена, мы должны в конце концов предположить для этой приобретенной способности к усвоению такую способность к усвоению, которая сама не усвоена[64]. “Врожденное — это не только то, что не выучено, это то, что должно предшествовать всякому индивидуальному усвоению с тем, чтобы сделать его возможным”[65], — пишет Конрад Лоренц.

Вернемся к вопросу о пользе. В чем могла состоять для человека польза от того, что была выработана способность к поведению, управляемому правилами? На этот вопрос есть общий и есть специальный ответ.

Начнем с общего. Мы можем утверждать, что трем типам способностей: вести себя инстинктивно, руководствоваться в поведении разумом или правилами — соответствуют три скорости приспособления живого существа к окружающему миру.

Рассмотрим отрывок из Фолькера Бее, в котором он объясняет, что значит “вести себя”.

“Пограничным случаем поведения можно было бы представить себе, к примеру, нечто постоянное, застыв-

[63] Ср. дискуссию в Beeh 1981, с. 92 и далее.
[64] Ср. Beeh 1981, с. 99.
[65] Lorenz 1965, с. 44.

шее, например, непрерывное удаление. Независимо от того, было ли когда-нибудь такое поведение или нет, ясно, что с понятием поведения в большинстве случаев связывается способность, дающая организму возможность избирательно, в соответствии с определенными условиями окружающей среды, "запускать" различные процессы. Способность к этому должна быть опять же свойственна организму, поскольку делегирование решений окружающему миру, в основном, вознаграждается плохо. Выгодно отличаются в этом смысле только такие способности, которые, как правило, обеспечивают выбор, благоприятный для организма. Так как баланс решений, принимаемых в окружающем мире по собственной инициативе, но тем не менее благоприятных для определенного организма, в обычном случае слишком плох, только такие виды имеют шанс выжить, которые как можно больше таких решений 'берут в свои руки'. Особи таких видов должны обладать такой организацией, которая обеспечивает им возможность превращать неблагоприятные ситуации в более благоприятные"[66].

Наши инстинкты представляют собой такую организацию. Например, для человека большое преимущество имеет то, что он инстинктивно закрывает глаза, когда к его лицу приближается летящий предмет. Это инстинктивное поведение было "усвоено" видом именно таким образом, что индивиды, обладавшие в определенных ситуациях способностью закрывать глаза, имели бóльшую вероятность выживания и/или воспроизводства, чем другие, так что потомки чаще наследовали эту способность, чем ее отсутствие. Индивидуально врожденным является в этом смысле то, что "усвоено" видом. "Про-

[66] Beeh 1981, с. 94 и далее.

цессы усвоения” подобного рода отнимают очень много времени. Скорость, с которой вид генетически реагирует на изменившуюся окружающую среду, охватывает временные промежутки в сотни тысяч лет.

Правила социального поведения тоже не вдруг приспосабливаются к изменившимся условиям, но скорости изменения имеют все-таки совсем другие измерения. Обычаи могут ощутимо измениться уже за десять или двадцать лет.

Поведение, руководимое инстинктами или правилами, в принципе консервативно, что совершенно не характерно для разумных действий. Разумное действие ориентируется (в идеальном случае) исключительно на логику проблемы, которую следует решить, а не на тот способ, каким ее решают другие, или не на то, “как это всегда делалось”.

Однако несколько бóльшая скорость приспособления к изменившимся условиям оплачивается каждый раз в каждом определенном случае более ограниченной степенью подтверждения, то есть более высоким риском. Репертуар поведения, руководимого инстинктом, подтверждался миллионы раз в течение тысячелетий. Он хотя и не гибок, но в высшей степени надежен. Репертуар поведения, руководимого правилами, тоже иногда подтверждается миллионы раз в течение десятилетий или столетий. Он характеризуется, так сказать, средней изменчивостью при средней надежности. Он объединяет стереотипы действий с относительно высокой степенью надежности.

В противоположность этому, действия, руководимые разумом, в высшей степени рискованны. Они обеспечивают полное приспособление к каждому новому условию, абсолютно не гарантируя успеха. По большому счету только человеку дано делать нечто совершенно не-

правильное, так как это предполагает способность к разумным действиям.

Итак, наш общий ответ на вопрос о пользе, которую приносит человеку способность к поведению, руководимому правилами, звучит так: поведение, руководимое правилами, позволяет реагировать на возникающие проблемы более гибко и специфично, чем инстинктивное поведение.

Рассмотрим теперь более специальный ответ на этот вопрос. В уже упоминавшемся сочинении "Переоцененный разум" фон Хайек предлагает следующий:

"Врожденные человеку инстинкты созданы не для того общества, в котором он живет сегодня. Инстинкты были приспособлены к жизни в маленьких группах, в которых она протекала в течение тысячелетий развития человеческого рода. (...) Более открытое общество является результатом развития известных наследуемых правил поведения, которые часто говорят ему, что он не должен делать того, чего требуют инстинкты"[67].

Короче говоря, польза выработанных систем социальных правил состояла в том, что они позволяли создавать большие общества.

Фон Хайек обсуждает исключительно, как он говорит, "моральные правила"; но я предполагаю, что при этом речь идет об англицизме; "мораль" понимается в смысле "моральной философии" Давида Юма или Адама Смита, так что мы спокойно можем, не причиняя тексту насилия, перевести "моральные правила" как "социальные правила совместной жизни".

Я хотел бы немножко поразмышлять над подходом фон Хайека, так как он представляется мне приемлемым.

---

[67] Von Hayek 1983, с. 164.

Я хотел бы использовать его прежде всего для рассмотрения языка.

Преимущество больших обществ по сравнению с маленькими племенами состоит в том, что они могут располагать множеством знаний и способностей, которые значительно превышают возможности каждого отдельного индивида. Отдельные члены большого общества могут тем самым, используя принцип разделения труда, наслаждаться товарами, достижениями и способностями, которыми они никогда бы не располагали поодиночке или в маленьких группах[68]. Однако жизнь в больших обществах требует совершенно других форм социального поведения. Жизнь стада определялась "узко очерченной кооперацией индивидуумов, знающих друг друга, кооперацией, направляемой совместным восприятием событий, которые все сообща видели и могли осознать как потенциальный источник пищи или опасности"[69]. Структура власти в стаде не была, вероятно, постоянной, выстраиваясь, смотря по обстоятельствам, в соответствии с принципом власти более сильного.

Чтобы образовывать большие общества, нужно заменить принцип совместного взаимодействия на конкретную цель, находящуюся у всех перед глазами, а принцип власти более сильного заменить на более абстрактные принципы и правила поведения. Обычай является как бы исходной формой абстрактных принципов действий. Действовать в определенной ситуации в соответствии с обычаем означает абстрагироваться от конкретного случая, причисляя его к одному из типов, в котором ведут себя так-то и так-то.

---

[68] О теории и эволюции сложных обществ см. Corning 1983.
[69] Von Hayek 1983, с. 165.

Язык — это обычай; гигантский (ставший между тем таковым) обычай, чтобы влиять на определенные вещи.

Чтобы могли возникнуть большие общества, требуется прежде всего регламентация насилия или его замена на ненасильственные поведенческие альтернативы.

Фундаментальными институтами, заменяющими насилие, являются право, рынок и язык. Этот набор может, на первый взгляд, показаться сомнительным. Оставим в стороне предположение Адама Смита о том, что языку при этом отдается приоритет, высказанное им во второй главе “Причин богатства народов”. Я хочу пояснить, что объединяет эти три “обычая”.

Обычай права служит для того, чтобы передавать третьему (нейтральному) лицу урегулирование конфликтов. Индивидуум уступает свои права на самооборону или возмездие инстанции, которая гарантирует ему в качестве ответного шага защиту от незаслуженной самообороны или незаслуженного возмездия других. Тем самым право представляет собой своего рода обмен: я отдаю третьему лицу (государству, главарю, мафии и т.п.) свои права на возмездие и получаю за это защиту от произвольных действий других.

Рынок и язык служат родственным целям. Оба пред-ставляют собой учреждения, которые служат тому, чтобы добиться от другого чего-то определенного. Рынок — это учреждение, которое я использую, когда хочу добиться от кого-то, чтобы он дал мне нечто определенное; язык — это учреждение, которым я пользуюсь, когда хочу добиться от кого-то, чтобы он сделал нечто определенное или поверил во что-то.

Архаичной альтернативой рынка и языка является насилие, торговли — грабеж или воровство, коммуникации — принуждение [70].

Заниматься торговлей означает, говоря упрощенно, давать тому, кто имеет то, в чем есть потребность, и нуждается в том, что имеют другие, — давать ему то, что имеют другие, чтобы получить от него то, в чем нуждаются эти другие.

Коммуникацией называется, говоря упрощенно, передача другому желаний или убеждений в надежде и с намерением, что это послужит для него основанием выполнить желание или перенять убеждение.

В основе коммуникации и торговли лежит один и тот же принцип: если ты хочешь добиться от кого-то, чтобы он сделал нечто определенное, дай ему основание сделать это самому. Получить то, что мне нужно, при известных обстоятельствах может явиться для меня хорошим основанием дать тебе что-то из того, что у меня есть и что ты хотел бы получить. Узнать, что ты веришь во что-то, при известных обстоятельствах может явиться для меня хорошим основанием тоже поверить в это. Знать, что ты хочешь, чтобы я сделал что-то определенное, может быть для меня при известных обстоятельствах хорошим основанием сделать это.

Покупка с применением денег — частный случай описанной здесь в общем виде торговли. Деньги — это конвенциональное средство ускорения процесса. Они сокращают мой поиск того, у кого есть, что мне нужно, и кто нуждается в том, что есть у меня, потому что деньги нужны практически каждому.

---

[70] Ср. Mandeville 1924, т.2, с. 289.

Коммуникация с применением языка аналогична: это частный случай описанной здесь в общих чертах коммуникации. Язык — это конвенциональное средство ускорить процесс, усовершенствовать его, а во многом и вообще сделать его возможным. Он облегчает или обеспечивает возможность дать другому понять, чего от него хотят добиться.

Следует признать, что в двух последних предложениях скрыто опасное сокращение, если применять их к нашим современным, полностью развитым языкам. Язык (как, впрочем, и денежное хозяйство) стал самостоятельным учреждением, так что инструменталистская перспектива оказывается в применении к нему недостаточной. Поясним это одним сравнением.

“Шахматы — это конвенциональное средство поставить кому-то мат”. Что в этом странного? Неуместная инструменталистская перспектива. Шахматы относятся к состоянию мата по-другому, нежели сверло к дырам. Существование дыр логически не зависит от существования сверл, а “дыра” может быть определена без применения “сверла”. Полностью развитые языки, каковыми являются современные языки человечества, строго говоря, это хорошие инструменты, способные не только делать известные вещи, но прежде и создавать вещи, которые можно ими делать, так же, как игра в шахматы создает ситуацию мата.

Вернемся к обсужденной в начале главы противоположности “природа — искусство”. В XIX веке языковеды были прямо-таки зациклены на этой противоположности, что не давало им возможности, несмотря на непрекращавшиеся усилия, развить подобающее понятие языка. В следующей главе я хочу на примерах показать это зацикливание.

3.2. Аргументы в тупике: Шлейхер, Мюллер, Уитни

“Греческое различение (...) между естественным (*physei*) и искусственным или конвенциональным (*thesei* или *nomv*)” стало — говоря словами фон Хайека — “такой прочной традицией (...), что оказало воздействие, подобное воздействию тупика, из которого только Мандевиль показал выход”[71].

Так как лингвисты в подавляющем большинстве не видели этого выхода, они еще долго оставались жертвами собственноручно выбранных ограничений.

На примере некоторых аргументов Августа Шлейхера, Макса Мюллера и Уильяма Д. Уитни я хочу показать тип этих ограничений.

Лейтмотивом многих наук был в XIX веке поиск законов развития. Чарльз Лилль, Герберт Спенсер, Чарльз Дарвин, Карл Маркс — все они участвовали в поиске в рамках своих наук; насколько успешно — об этом, как мы знаем, еще и сегодня идут споры. Усилия лингвистов во всяком случае заслуживали всяческого уважения. Сравнительное языкознание сформулировало ряд звуковых законов индоевропейских языков. Казалось даже, что путем обратной экстраполяции открытых закономерностей можно реконструировать праиндоевропейский язык или он уже реконструирован.

В 1868 году Август Шлейхер даже опубликовал на этом языке небольшую басню. “Отчасти, чтобы показать, что, хотя и с трудом, но можно образовать на индоевропейском праязыке связные предложения, отчасти animi

[71] Von Hayek 1969, с. 131.

causa, я попытался написать на этом открытом языке несколько строк"[72].

Это выглядит так:

Avis, jasmin varná na á ast, dadarka akvams, tam, vágham garum vaghantam, tam, bháram magham, tam, manum áku bharantam. Avis akvabhjams á vavakat: kard aghnutai mai vidanti manum akvams agantam.

Овца, на которой не было шерсти, увидела коня, который вез тяжелую повозку, на которой был большой груз, на которой быстро вез человека. Овца сказала коню: у меня сердце замирает смотреть, как человек гонит коня.

С точки зрения современности, это, конечно, остроумная чепуха, так как сравнительный метод вовсе не обязательно ведет к праистокам. Он исходит из совершенно необоснованной предпосылки, что исходным является нечто общее двум (или нескольким) вещам. Кроме того, совершенно не доказана гипотеза, что все индоевропейские языки произошли от одного единственного корня.

Как бы там ни было, ученые были едины во мнении, что языки изменяются и процесс этот постоянен и неизбежен. Не было однако единства в вопросе, почему это так; не было единства в вопросе об онтологическом статусе и природе языка. С этим, естественно, были связаны разногласия по поводу обнаруженных закономерностей развития.

Август Шлейхер в работе "Теория Дарвина в применении к науке о языке" выразил крайний, но зато очень ясный взгляд: "Языки — это природные организмы, которые возникли независимо от воли человека, произраста-

[72] Schleicher 1868, с. 206.

ли и развивались по определенным законам, а теперь стареют и умирают; им также свойствен ряд явлений, которые обычно подводят под понятие ‘жизнь’. Глоттохронология, наука о языке, является тем самым естественной наукой (...)”[73].

Откуда Шлейхер так точно об этом знает? “Наблюдение — основа современного знания”[74]. Поскольку лингвистика, как и биология, естественная наука, в ней “принимаются во внимание только факты, установленные строгим объективным наблюдением, и построенные на них выводы”[75].

С сегодняшних позиций можно только удивляться теоретико-познавательной наивности такого большого ученого. Как же мало может защитить от ошибок “строгое объективное наблюдение”! Несоответствие между научным достижением Шлейхера и его теоретико-познавательными размышлениями бросилось в глаза уже Уитни:

“Имя Августа Шлейхера произносится всяким изучающим сегодня сравнительную филологию с почтением и восхищением. (...) К сожалению, нет необходимой связи между достижениями в одной из этих областей (эмпирической — О.К.) и достижениями в другой (теоретико-познавательной — О.К.); многие великие компаративисты либо не затрагивали принципов и законов, лежащих в основе феноменов, с которыми они имеют дело, либо считали, что им соответствуют взгляды, полностью поверхностные или даже несообразные и абсурдные”[76].

---

[73] Schleicher 1863, с. 6 и далее.
[74] Schleicher 1863, с. 9.
[75] Schleicher 1863, с. 6.
[76] Whitney 1873, с. 208/209/

Нелепые взгляды Шлейхера на природу языка мотивированы, конечно, искренним желанием разделить престиж преуспевших ученых-естественников. Это желание было тогда широко распространено (оно еще и сегодня полностью не исчезло). “Естественная наука въезжает, как триумфатор на победной колеснице, которая завораживает всех нас”, — писал языковед Вильгельм Шерер[77]. Может быть, ему следовало бы написать: “на которой и мы хотим ехать”.

Шлейхер делает лингвистику естественной наукой с помощью простой уловки. Он буквально воспринимает метафору о том, что язык — это организм, и делает из этого свои выводы: “Наблюдение, однако, учит, что все живущие организмы (...) изменяются по определенным законам”[78], и притом учит “с неопровержимой определенностью”[79]. Он пытается дополнительно подкрепить тезис естественнонаучности лингвистики, показывая ее сходство с “теорией Дарвина”[80]. К примеру, пишет о том, что клетка в биологии соответствует корню в праязыке[81] или : “Мы так же строим родословные деревья языковых семей, как Дарвин (...) пытался сделать это для видов растений и животных”[82].

У Шлейхера, однако, мало ощущается дух Дарвина, славу которого он бы охотно разделил. Так, например, он совершенно не понял (а вместе с ним и все те, кто еще и сегодня называет его дарвинистом), что его сравнение

[77] Scherer 1874, с. 412.
[78] Schleicher 1863, с. 9.
[79] Schleicher 1863, с. 10.
[80] Ср. Keller 1983, с. 34.
[81] Schleicher 1863, с. 25.
[82] Schleicher 1863, с. 14.

“жизни” языка с ростом, старением и умиранием растения — это не пример дарвинизма, а неуместная попытка представить эволюционный процесс как онтогенетический. Для этого сравнения ему не нужно было ждать Дарвина. Рост, жизнь и смерть живого существа ни в коем случае не идентичны тому, что можно было бы метафорически назвать “жизнью языкового организма”.

Что приводит Шлейхера к мнению, что (оставаясь верным языку времени) языковой организм — это *естественный* организм? “Организм” сам по себе не означал тогда “естественный организм”[83]. Гумбольдт, например, не оставлял сомнений в том, что языковой организм существует только в человеке и через человека. Шлейхер пользовался критерием, который в равной степени признавали как его сторонники, так и противники: *зависимость или независимость от воли человека* считалась решающим критерием при определении естественности или искусственности феномена.

Для естественных организмов характерно, что они развиваются “независимо от воли человека”[84]. Развитие языка не определяется человеком, поэтому язык является естественным организмом, а наука о нем — естественной наукой.

Вот структура аргумента, основная слабость которого содержится в упомянутой выше предпосылке. Она находится в плену противоположности “природа — искусство”.

Показательно рассмотреть аргументацию Макса Мюллера. В последней трети XIX века Макс Мюллер был одним из самых известных языковедов. Он жил в Оксфор-

---

[83] О различении организма и механизма см. Kant 1974, § 65.

[84] Schleicher 1863, с. 6 и далее.

де, был значительным санскритологом, издателем и переводчиком Ригведы. Однако своей славой в Европе и США он обязан прежде всего умению популярно изложить свое представление о современном состоянии лингвистики. “Lectures on Language”, лекции, которые он прочитал в 1861 и 1863 годах в Королевском институте Лондона, стали бестселлером и были переведены на многие языки. В основе моего изложения лежит 15-е издание, “немецкое издание, авторизованное сочинителем” под названием “Наука языка”.

Предвосхищая суть дела, отметим: Мюллер приходит к тому же результату, что и Шлейхер. Но его аргументация мягче. Он даже критикует аргументацию Шлейхера, признавая ее слабость: “Если язык должен расти, то ему нужна для этого почва, а этой почвой может быть только человек. Язык не может существовать за счет себя самого. Когда Фридрих Шлегель говорит о языке как о дереве, выгоняющем почки и ростки в виде вербальных и номинальных окончаний, или когда Шлейхер рассматривает его как вещь в себе, органическое существо, ведущее собственную жизнь, достигающее зрелости, производящее потомство, а затем окончательно умирающее, то все это следует рассматривать как мифологию, свойственную этим ученым. Если мы и не можем обойтись без метафорических выражений, то нам надо постоянно быть настороже, чтобы слова, которые мы употребляем, не увлекли нас слишком далеко”[85].

Под этим можно совершенно спокойно подписаться; но не слишком ли откровенно это признание для того, кто, говоря его словами, “всегда считал решенным делом, что наука языка (...) относится к естественным наукам и что

[85] Müller 1892, с. 44 и далее.

поэтому ее метод должен быть похож на методы, с таким большим успехом применяемые в ботанике, геологии, анатомии и других ветвях естествознания”[86]?

Не вынуждены ли мы причислять языкознание к “историческим наукам“, которые имеют “дело с (творениями) человека”? Ведь “физическая”, то есть “естест-венная наука” имеет дело с “произведениями Божьими”[87]. Макс Мюллер отваживается сделать еще один шаг дальше: даже библия не утверждает, что язык — это творение Божье! “Так как в библии (Ветхий Завет. Бытие, II, 19 — Р.К.) не Творец дает каждой вещи имя, а Адам”[88].

В действительности все говорит против того, чтобы причислять языкознание к естественным наукам, и все за то, что речь идет об “исторической науке”. К тому же язык подвержен историческим изменениям. “Исторические преобразования языка могут происходить быстрее или медленнее, но они имеют место во все времена и во всех странах” [89].

Как Макс Мюллер выбирается из цепочки аргументов, которая кажется безвыходной? “Когда я требовал для науки о языке место в ряду естественных наук (Прим: Шлейхер ... позднее пришел к тому же мнению), я был готов встретить некоторые возражения”[90].

Вот его главный аргумент:

“После всего этого решили, что с языком нельзя обходиться в точности так же, как с другими естественными науками, поскольку он, в противоположность всем дру-

---

[86] Müller 1892, с. 20.
[87] Müller 1892, с. 20.
[88] Müller 1892, с. 29.
[89] Müller 1892, с. 34.
[90] Müller 1892, с. 27.

гим естественным явлениям, подвержен историческим изменениям.

Это возражение кажется до поры до времени хорошо обоснованным; если же мы его проверим повнимательнее, то вскоре выясним, *что оно основано исключительно на смешении выражений* (курсив мой — Р.К.). А именно, мы должны различать исторические изменения и естественный рост. Искусство, наука, философия и религия имеют свою историю; язык же, как всякий другой естественный продукт, допускает, строго говоря, только рост"[91].

Кажется, понятие "рост" играло в то время в Англии значительную роль. Так, Герберт Спенсер замечает в третьей части труда "Принципы биологии", который впервые появился в 1864 году, "что общество *не сделано*, но *растет* само (курсив мой — Р.К.)[92].

По какому критерию Мюллер отличает историю от роста? Это знакомый нам критерий волевого влияния человека: "Следует (...) принять во внимание, что, даже если язык постоянно подвержен изменениям, человеку все-таки не дано производить их или препятствовать им. Насколько безуспешно мы могли бы подумать о том, чтобы изменить законы кровообращения или прибавить локоть к своему росту, настолько же тщетными были бы наши попытки изменять законы речи или произвольно изобретать новые слова" [93].

Следовательно, язык — это естественный феномен. Вот и опять аргумент оказывается в плену дихотомии естественного и искусственного. Само собой разумеется,

---

[91] Müller 1892, с. 37.

[92] Spencer 1876, с. 379 (ср. также ч. II, гл. I).

[93] Müller 1892, с. 37.

была и другая позиция, комплементарная. Одним из тех, кто ее представлял, был Уильям Д. Уитни. Он считал языкознание “одной из благороднейших исторических, или духовных, наук”[94].

Почему оно является таковым? Критерий постоянен:

“Мы не можем проходить мимо существенного различия между предметом естественной науки и предметом языкознания, мы должны признать, что имеем здесь дело с человеческими сооружениями, в которых повсюду действует неуловимая и неизмеримая сила (...) — человеческая воля”[95].

Непосредственно откликаясь на замечание Шлейхера, что языки не определяются волей людей, Уитни пишет:

“Если волевое действие человека имеет какое-то отношение к созданию и изменению языка, то тогда язык в известном смысле — не естественный организм, а человеческий продукт. А если такое действие представляет единственную силу, которая только и создает, и изменяет язык, то язык вообще не является естественным организмом, а его изучение не является естественной наукой”[96].

Примечателен осторожный способ выражения Уитни. Он утверждает не то, что люди создают и изменяют свой язык, а то, что волевые действия “имеют какое-то отношение” к этому или что действие “представляет единственную силу”. Этот способ выражения без сомнения сочетался бы с тезисом, что язык является результатом человеческих действий, а не исполнением человеческого пла-

[94] Whitney 1874, с. 686.
[95] Whitney 1876, с. 283.
[96] Whitney 1873, с. 301.

на. В некоторых своих формулировках Уитни действительно очень близко подошел к такому взгляду. Однако когда потом мы читаем: “(...) из чего подобный характер имеют симфония Бетховена, греческий храм, египетская пирамида”[97], то мы вынуждены констатировать, что Уитни не осознал основополагающего различия между артефактом и так называемым естественным языком. Он искал выход из тупика в правильном направлении, о чем не в последнюю очередь свидетельствует выбор понятия учреждения: “Если мы хотим дать языку имя, которое наиболее точно выявит его сущностный характер ..., мы назовем его УЧРЕЖДЕНИЕМ, одним из учреждений, создающих человеческую культуру”[98]. Но если бы он так ясно понимал сущность языка, как он это пытается представить и как это местами кажется, то ему, конечно, было бы ясно, что уж, конечно, ни симфония, ни храм, ни пирамида не являются в этом смысле учреждениями.

В заключение рассмотрим еще раз вместе всех трех авторов: Шлейхера, Мюллера и Уитни. Что объединяет и что разделяет их?

Шлейхер и Мюллер рассматривают язык как естественный феномен, Уитни — как культурный. Для Шлейхера ясно, как день: язык — это организм; организмы живут и умирают; что живет и умирает, является частью природы, следовательно, лингвистика — естественная наука. Шлейхер представляет эту позицию прямолинейно и без всяких оговорок. Мюллер в конечном итоге приходит к тому же результату, но у него при этом ощущается известное беспокойство. Уитни приходит к противоположному результату, но не кажется при этом вполне удовле-

[97] Whitney 1873, с. 301 и далее.
[98] Whitney 1873, с. 316.

творенным. У обоих авторов ошеломляют текстуальные совпадения, которые не только очень похожи друг на друга, но и отчетливо обозначают мандевилевский выход из тупика. Макс Мюллер пишет: "Процесс, благодаря которому язык приобретает прочный образ, ... несет в себе оба противопоставленных элемента — *необходимость и свободную волю* (курсив мой — Р.К.). Хотя индивидуум и кажется основным фактором при создании новых слов и новых грамматических форм, он становится таковым, только потеряв свою индивидуальность в совместной деятельности семьи, племени или нации, к которой он принадлежит. (...) Один человек сам по себе бессилен, а его кажущиеся успехи зависят от законов, которыми он не владеет, и от содействия всех тех, кто вместе с ним образует класс, тело, органическое целое"[99].

Чувствуется усилие найти выход, близость идеи, что язык — ненамеренное коллективное следствие намеренных действий индивидуумов. Его размышления нацелены правильно, хотя он и не может расстаться со своим виталистским наследством á la Шлейхер. Примечательно, однако, его утверждение, что язык обязан своим становлением взаимодействию свободной воли и необходимости. К этому аспекту нам придется вернуться!

Соответствующий отрывок из Уитни звучит так: "Желание коммуникации — это реальная живительная сила, к созидательной деятельности которой имеет доступ всякое человеческое существование, на любой стадии культуры; и, насколько мы можем судить, это единственная сила, способная запустить процесс создания языка, как и единственная сила, сохранившая этот процесс до настоящего времени. Она действует двояко: сознательно

[99] Müller 1892, с. 40.

и бессознательно, как показывают дальнейшие последствия дела"[100].

Мюллеровское взаимодействие воли и необходимости у Уитни встречается как взаимодействие сознательного и бессознательного. И об этом аспекте мы еще вспомним.

Как стало возможным, что два ученых высшего ранга при значительном совпадении взглядов на сущность языка и его становление приходят к противоположным выводам: один считает, что язык естественный феномен, другой — что он сделан людьми.

3.3. Сделан ли язык людьми?

Перенесемся в современность. Ноэм Хомский в своей книге "Правила и репрезентации" обращается к вопросу, "сделаны ли" языки людьми и не открыты ли они "тем самым теоретическому подходу, который явственно отличается от подхода естественных наук"[101]. Я не хочу критиковать основную аргументацию Хомского, так как, по-моему, он прав в том, что ответ на этот вопрос не важен для *его* постановки проблемы. Он стремится найти ментальные структуры, которые представляют способность идеального говорящего овладеть грамматикой какого-либо языка, причем в центре интереса находится ядро грамматики, которым мы, люди, владеем с рождения и которое тем самым (в принципе) является общим для всех языков. Для такой постановки проблемы неважен даже тот факт, что говорящий использует язык с целью коммуника-

---

[100] Whitney 1873, с. 355. (На этот пассаж указывает и Дарвин: Darwin 1893, с. 110. Прим. 53.).

[101] Chomsky 1980/1981, с. 18.

ции. Проблема Хомского, возможно, в самом деле эмпирическая естественно-научная проблема, если принять во внимание корректность предпосылки о том, "что грамматика должна существовать реально, то есть в вашем мозгу должно быть нечто такое, что соотносится с грамматикой"[102].

Я не хочу упрекать его в том, что для него относительно неважен вопрос, "сделаны ли языки людьми". Более показательно то, что он вообще не видит возможности осмысленно ставить или интерпретировать этот вопрос. Посмотрим на одно место из его текста. Комментируя тезис, что мы "создали" свой язык, он пишет, что это утверждение "сформулировано в лучшем случае довольно непонятно. Мы как индивиды создали свой язык? То есть я или Вы 'создали' английский? Представляется, что это либо бессмысленно, либо неверно. В отношении языка, который мы приобрели, у нас вообще не было выбора; он просто развивался в нашей душе на основе нашего внутреннего устройства и окружающего нас мира. 'Создан' ли язык нашими предками? Из такого вопроса трудно выудить смысл. В самом деле, для предположения, что язык 'создан', так же мало оснований, как и для предположения, что 'нами создана' визуальная система человека в ее различных разновидностях(...)"[103].

Хомский путает две различных проблемы: Я сам создал свой язык? Нет, конечно нет. Моя языковая компетенция развивалась в первые годы моей жизни, чему я не мог бы ни поспособствовать, ни воспрепятствовать, развивалась действительно на основе моего "внутреннего

[102] Chomsky 1982, с. 107.
[103] Chomsky 1980/81, с. 18 и далее.

устройства и окружающего мира”. Если мы истолкуем тезис о том, что, например, английский язык создан людьми, в том смысле, что индивидуальные компетенции говорящих на английском языке созданы ими самими, то он будет, вероятно, “бессмыслен или неверен”. Но кто вообще мог представлять такую бессмыслицу? Вопрос о том, как люди (дети) овладевают родным языком (главная проблема Хомского), в корне отличается, однако, от вопроса, как образовалось такое состояние, которое сегодня называют “английским языком”. Ответ на первый вопрос во многом не зависит от ответа на второй.

“Создан ли язык нашими предками?”

Понимание Хомским языка не позволяет ему видеть смысл в этом вопросе. Хомский придерживается такого мнения: то, что мы в какой-то стране называем “языком”, например “немецким языком”, — это фантастический образ, который, во-первых, реально не существует, а во-вторых, не представляет интереса для лингвистики. Реальной и интересной является исключительно “представленная” в мозгу говорящего индивидуальная компетенция, которую Хомский с некоторых пор называет I-Grammar (internalized grammar) — внутренней грамматикой. О представлениях, сложившихся в моей голове, конечно, нельзя осмысленно спросить, сделаны они человеком или нет. Однако Хомский игнорирует при этом тот факт, что моя компетенция в моей голове и “немецкий язык” в овеществленном смысле, в смысле принятых конвенций, находятся в отношении взаимного влияния и что моя компетенция в моей голове, если не принимать во внимание патолингвистической постановки вопроса, ровно настолько интересна для лингвистики, насколько

она принимает конвенции. На этих проблемах я подробнее остановлюсь в главе 5.3.

Вернемся к исходному вопросу, поставленному в конце последней главы. Как получается, что при преимущественно одинаковых взглядах на язык один человек может прийти к заключению, что тот создан людьми, тогда как другой человек считает его естественным феноменом?

Причина этого кроется в неясности предиката “сделан людьми”. Примечательно, что он имеет два значения.

Предмет (в широком смысле) может быть сделан людьми, когда он

А: является результатом человеческих действий

или он может быть “сделан людьми” в том смысле, что

Б: возник на основе человеческих намерений.

Здесь хотя Б имплицирует А, но А не имплицирует Б. Это означает, что оба критерия во многом совпадают, но это совпадение не обязательно. Лингвисты XIX века не видели этой относительной независимости. Те, кто, как Шлейхер и Мюллер, хотели доказать, что язык является естественным феноменом, отрицали, что критерий Б подходит к языку: развитие языка (его “рост”) “не определяется” людьми, оно не зависит от воли одного человека.

Те, кто, как Уитни, хотели доказать, что язык — человеческое учреждение, а не естественный феномен, опирались на то, что верен критерий А: “действие является единственной силой, которая создает и изменяет языки”[104]. Но при этом ни те, ни другие не противоречат друг другу! И те, и другие правы, так как обе позиции тесно связаны друг с другом. Кажущееся противоре-

[104] Whitney 1873, с. 301.

чие возникло только тогда, когда одни были вынуждены сделать недопустимую замену не-Б на не-А, а другие были вынуждены сделать недопустимую замену А на Б. Или, другими словами: так как они с молчаливого согласия исходили из того, что А ↔ Б, они были вынуждены признать дихотомию (-А & -В) / (А & В). Все, что не было естественным, должно было быть искусственным[105].

Из факта, что хотя Б имплицирует А, А не имплицирует Б, следует, что "классическая" дихотомия может быть заменена трихотомией, поскольку Б → А эквивалентно -(-А & Б). Таким образом, остаются три возможности: (-А & -Б) / (А & Б) / (А & -Б). По-другому это можно выразить так:

1. Существуют вещи, которые не являются целью человеческих намерений и (тем самым) результатом человеческих действий (прямая походка, язык пчел, погода, Альпы).

2. Существуют вещи, которые являются результатами действий людей и целями их намерений (Кельнский собор, пирог, гетто в Соуэто, эсперанто).

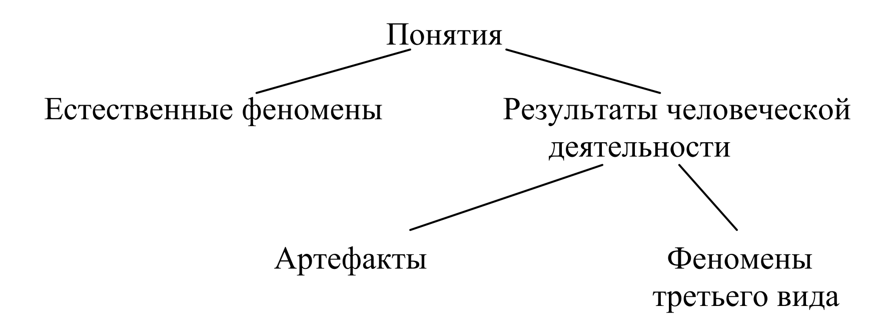
3. Существуют вещи, которые являются результатами действий людей, но не целями их намерений (инфляция немецкой марки, тропинки на газоне, гетто в Гарлеме, наш язык).

Вещи первого вида бесспорно естественные феномены, вещи второго вида так же бесспорно артефакты.

[105] "&" означает "так же, как", "/" означает "один из обоих, но не оба".

Вещи третьего вида имеют с двумя другими по одному общему критерию. Как вещи второго вида, они являются результатом деятельности людей, а как вещи первого вида, они не являются целью людских намерений. Таким образом, смотря по тому, какой критерий перевешивал, их можно было по выбору причислять либо к естественным феноменам, либо к артефактам.

Я называю вещи, которые являются результатами действий людей, но не целью их намерений, "феноменами третьего вида". Отказ от классического двоичного разделения научных понятий в пользу троичного можно проиллюстрировать графически следующим образом:



Феномены третьего вида — это, конечно, те самые фергюсоновские "учреждения, которые являются результатом действий человека, но не выполнением его воли"[106].

Что я хотел бы утверждать? *Во-первых*, что естественные языки являются феноменами третьего вида, а не

[106] Ferguson 1767, с. 187.

естественными феноменами и не артефактами. *Во-вторых*, я хотел бы утверждать, что рассмотрение языка как феномена третьего вида позволяет сделать как раз то, чего страстно желали лингвисты XIX века, но что и поныне остается пределом мечтаний: дать понятие языка, отвечающее его постоянному изменению.

Часть II

4. Действие невидимой руки

4.1. Язык — феномен третьего вида

Повторим еще раз квинтэссенцию обеих последних глав.

Существует основополагающая ошибка, которая не позволяет ее сторонникам понять сущность человеческой культуры вообще и языка в особенности. Ее можно сформулировать следующим образом. Мир без остатка распадается на два вида явлений: те, которые созданы Богом (или которые существуют в природе сами по себе), и те, которые созданы людьми. Tertium non datur. Третьего не дано. Творения Бога — естественные феномены, творения человека — артефакты. Естественные феномены не зависят от воли человека и являются тем самым предметом естественных наук; артефакты — продукты волевых действий человека и являются тем самым предметом духовных наук и культурологии. Такова основная ошибка. Она ведет к неправильной оценке языка и языковедения. Кто хотел причислить лингвистику к естественным наукам, мог сослаться на тот факт, что развитие языка не зависит от воли человека; кто хотел причислить лингвистику к духовным наукам, мог сослаться на другой факт, что развитие языка могло быть вызвано только речевыми действиями человека.

Выход из этой дилеммы возможен, если признать, что рассматриваемая дихотомия "естественные феномены — артефакты" основана на неосознанной двузначности предиката "сделанный людьми". Или, выражаясь по-другому, что наряду с естественными феноменами и артефактами есть еще феномены третьего вида, и язык — один из них.

В главе 1.2. я уже указывал на то, что наш разговорный язык упорно сопротивляется адекватному представлению эволюционных процессов. Здесь мы видим то же самое. Не примечательно ли, что есть прилагательные *естественный* и *искусственный*, но нет прилагательного, которое обозначало бы свойство феномена третьего вида? Можно предположить, что это происходит оттого, что последние (как это еще предстоит объяснить) являются эволюционными феноменами. При этом мы строго различаем два способа, которыми что-то может быть сделано человеком. Однако терминологически делаем это совершенно некорректно. Так же, как мы корректно отличаем естественные цветы от искусственных, мы определяем различие между естественными платежными средствами (деньгами) и искусственными (денежными суррогатами), между естественно выросшим городом и искусственным (спроектированным на чертежной доске), между естественным алфавитом и искусственным и, наконец, между естественными языками и искусственными.

Мы корректно отмечаем различие, но ошибочно его называем. Естественные платежные средства, города, алфавиты и языки имеют одно общее свойство: они, в противоположность естественным цветам, не являются естественными. Это человеческие продукты, культурные учреждения. Чем же они отличаются от своих искусственных дополнений, которые ведь тоже являются человеческими

продуктами и “культурными феноменами”? Распространенный бытовой ответ звучит: тогда как одни *запланированы*, другие *выросли органично* . Вот он опять — тупик, описанный в главе 3.2., на этот раз в форме застывшего способа выражения.

По сути дела, в нашем разговорном языке мы тоже встречаем введенное в последней главе троичное различение, но встречаем его в двоичной терминологии. Среди вещей, не являющихся естественными, мы различаем “естественные” и “искусственные”, причем “естественные” среди неестественных и есть наши феномены третьего вида.

Троичное деление представлено в нашем разговорном языке следующим образом:

Здесь мы видим, что в разговорном языке слово “естественный” применяется в двух смыслах. То, что мы

называем “естественными” феномены третьего вида, проистекает, видимо, оттого, что они в действительности объединяют в себе черты естественных феноменов и артефактов. “Вещи этой категории, — пишет Хааконсен, — объединяет с естественными феноменами то, что они возникают ненамеренно и должны быть объяснены в терминах результирующих причин, они похожи на артефакты тем, что являются результатами человеческих действий (...)”[107].

Обратимся к существенным чертам феноменов третьего вида. Рассмотрим один пример.

Исследователи дорожного движения называют определенный феномен, ежедневно имеющий место на наших дорогах, *пробками из ничего* . Это феномен третьего вида, на примере которого можно наглядно продемонстрировать типичные свойства подобных явлений. На очень упрощенной модели я хочу показать возможное происхождение такой пробки.

Представим себе, что по участку пути с плотным движением — ради простоты допустим, что это участок в одну колею — машины едут на расстоянии примерно 30 м друг от друга со скоростью 100 км в час. Неожиданно один водитель снижает (неважно по каким причинам) скорость до 90 км в час. Назовем эту машину или водителя “a”, а следующих за ним “b”, “c” и т.д. Когда “b” увидит тормозные огни “a”, он тоже затормозит; поскольку “b” не знает, до какой величины снизил скорость “a”, он, чтобы иметь “безопасную зону”, скорее всего затормозит посильнее. Может быть, он перейдет на 85 км в час. Аналогичная проблема встанет перед “c”. Снизить скорость ровно до 85 км в час слишком рискованно,

[107] Haakonssen 1981, с. 24. Этой отсылкой я обязан фон Хайеку.

так как он не знает точно, насколько затормозил “b”. Его стремление к безопасности приведет к тому, что он скорее всего затормозит сильнее, чем надо; возможно, он сократит скорость до 80 км в час. Можно вычислить, как это пойдет дальше: “s” встанет вообще, а вместе с ним и все, кто едет сзади.

Это упрощенная модель. В действительности все намного драматичнее, так как скорость нельзя сокращать линейно от машины к машине. Но для наших целей достаточно и такого примера.

Пробка, которая возникла, начиная с машины “s”, в известном смысле “сделана” водителями от “a” до “s”. Они создали ее своими действиями, хотя это и не входило в намерения каждого из них в отдельности. Каждый из них только соответствующим образом реагировал на действия едущего впереди, соблюдая законное стремление к безопасности, и создал, таким образом, чрезвычайно опасную ситуацию, не ставя это своей целью, более того, даже не зная об этом. (Между прочим, заметим, что курьезность такой пробки состоит в том, что те, кто ее “создал”, не “попали в нее”.)

Феномены третьего вида, эта пробка в том числе, — это, как правило, *коллективные феномены*. Они возникают в результате действий многих; причем действия, создающие феномен, обнаруживают известную однообразность, которая сама по себе может и не иметь значения, однако своей многократной повторяемостью влечет за собой определенные последствия. Однообразность в нашем примере с пробкой заключается в том, что каждый из участвующих водителей действует по правилу: лучше затормозить немного сильнее, чем немного слабее. Его намерения направлены на то, чтобы не наехать на машину впереди; обычно он вряд ли отдает себе отчет в том, что

способствует созданию “пробки из ничего”. Тем самым пробка является эпифеноменом действия торможения “с допуском безопасности”.

Чтобы выразить это на языке теории действий, надо немного расширить ее словарь.

В теории индивидуальных действий различают, как правило, *результат* действия и его *последствия*[108].

Результатом действия h (Handlung) называют событие, которое должно было наступить, чтобы действие h вообще считалось состоявшимся. Если результат действия h наступил, то о действии говорят, что оно *удалось*. Так, действие (закрываем дверь) удалось, если достигнут результат, а именно дверь закрыта. (Можно делать все, что угодно, действие не будет считаться состоявшимся, если дверь в конце концов не будет закрыта.) Намерение достичь результат действия я назвал *первичной интенцией*[109].

Обычно действия совершаются не ради их результатов, а ради их последствий.

Влияние, к которому стремились как к результату действия h, называют (намеренным, запланированным) *последствием* этого действия. Если запланированные последствия какого-то действия не наступают, то говорят, что оно не было *успешным*. Следовательно, действие может состояться, не будучи успешным. (Если я закрываю дверь, чтобы в помещении стало теплее, то может случиться, что, хотя дверь закрыта, запланированное последствие — согревание помещения — все-таки не наступает.) Намерение осуществить последствие(я) какого-то

---

[108] Существуют различные терминологии. Здесь я применяю ту, которую я эксплицировал в Keller 1977.

[109] Keller 1977, с. 19.

действия я назвал *вторичной интенцией*. Согласно этой терминологии пробку нельзя назвать ни результатом, ни следствием вызвавших ее действий. Речь идет о своего рода незапланированных последствиях. Однако и этот способ выражения вводит в заблуждение. Пробка ведь не является незапланированным следствием отдельных действий. Пробка — это своего рода незапланированное следствие всех (касающихся ее создания) действий, взятых вместе. Существует великое множество незапланированных следствий отдельных действий, из которых большинство не представляют интереса: у кого-то опрокинулся термос, у кого-то соскользнула с сидения папка и т.д. Следствие, ответственное за возникновение пробки, как раз н е является незапланированным. Скорость намеренно уменьшалась, причем скорее на большую величину, чем на меньшую. Особенностью этих незапланированных следствий, представляющих феномены третьего вида, является то, что они наступают *с такой же неизбежностью, как аминь в церкви*, при условии, что удаются действия, которые их вызывают.

В самом деле, здесь описаны *обусловленные* последствия, возникшие в результате определенных действий. Если удались действия водителей от a до s и скорость их собственных машин по отношению к скорости едущих впереди уменьшена в достаточной степени, включая допуск безопасности, то *обусловленным последствием* этого будет остановка движения. До сих пор утверждается, что в науках о культуре или о действиях обусловленность в качестве предпосылки неуместна[110]. Это, конечно, ошибка. Верно то, что культурные феномены не могут быть

[110] Coseriu 1958/1974, с. 23, с. 95 и далее; Cherubim 1983, с. 9; Ronneberger-Sibold 1980, с. 37.

объяснены *исключительно* причинными закономерностями; однако обусловленные части имеют право на объяснение и в области культурологии тоже. Более того, чтобы соответствовать истине, объяснения феноменов третьего вида должны иметь обусловленную часть. Так феномены третьего вида всегда складываются из микрообласти, которая планируется, и макрообласти, имеющей обусловленную природу. Микрообласть образуют индивидуумы, участвующие в создании феномена, или их действия (в нашем примере — тормозящие водители). Макрообласть образуется структурой, которую порождает микрообласть (в нашем случае "пробкой из ничего"). Итак, мы можем подвести итог: **Феномен третьего вида — это обусловленное следствие множества индивидуальных намеренных действий, которые служат хотя бы частично похожим намерениям**.

Как мы видели в главе 3.2., ни для Макса Мюллера, ни для Уитни не было секретом, что в процессе становления или преобразования языка играют роль два подобных фактора. Макс Мюллер признавал, что этот процесс "(объединяет) в себе оба противоположных элемента: необходимости и свободной воли"[111]. Уитни заметил, что процесс "делания языка (...) протекает и сознательно, и бессознательно, что касается отдаленных последствий акта"[112].

В то время свойства феноменов, которые я называю феноменами третьего вида, отчетливее всего видел человек, который был не лингвистом, а экономистом — Карл Менгер. В труде "Исследования о методе социальных наук и политической экономии в особенности", кото-

[111] Müller 1892, с. 40.
[112] Whitney 1873, с. 355.

рый появился в 1883 году, он посвятил им целую главу. Вторая глава в его третьей книге называется: “О теоретическом понимании тех социальных явлений, которые не есть продукт соглашения или позитивного законотворчества, но представляют собой непредсказуемые результаты исторического развития”.

Одной из самых, пожалуй, примечательных проблем социальных наук он называет такие вопросы:

“Как могут возникать служащие общему благу и в высшей степени значительные для развития этого блага институты, не опираясь на направленную на это **общую волю**?”[113].

“Какую природу — для нашей науки это важнейший вопрос — имеют все названные выше социальные явления” (а именно “язык, религия, право, да и само государство (...), явления рынка, конкуренции, денег”)[114]?

И “как мы можем достичь полного понимания их сущности и их движения”[115]?

В полном соответствии со взглядом на язык как на феномен третьего вида он пишет:

“Право, язык, государство, рынки, — все эти социальные образования в их разнообразных проявлениях и постоянном преобразовании представляют собой в немалой степени непредсказуемый результат социального развития”[116].

Он горячо выступает против двух видов объяснений, которые только кажутся таковыми:

- против “прагматического понимания” и

[113] Menger 1883/1969, с. 163
[114] Menger 1883/1969, с. 163
[115] Menger 1883/1969, с. 164.
[116] Menger 1883/1969, с. 164.

- против метафорики организма.

“Первое, что приходит в голову, когда пытаешься понять социальные институты, их сущность и движение, — это мысль о том, чтобы объяснить их как результат человеческого расчета, направленного на их обоснование и устройство”[117].

На языке Менгера — это “прагматическое” понимание. Хотя этот прагматический “объяснительный модус” имеет “то преимущество, что все социальные институты (...) могут интерпретироваться с одной общей, легко понятной точки зрения”; однако его недостатком является то, что он “неадекватен реальным условиям и вообще неисторичен”[118].

Менгер относит попытку “тех, кто думает, что решил вышеназванную проблему, назвав процесс становления, о котором идет речь, “*органическим*”, к “ничего не говорящим” объяснительным попыткам[119].

Заключительное определение, данное Карлом Менгером той феноменальной области, которую я называю феноменами третьего вида, звучит так:

“Социальные феномены, имеющие “органическое” происхождение, характеризуются (...) тем, что предстают как ненамеренные результирующие индивидуальных (то есть преследующих индивидуальные интересы), устремлений отдельных представителей народа и, следовательно, являют собой ненамеренные социальные результирующие индивидульно-целевых факторов”[120].

---

[117] Menger 1883/1969, с. 166 и далее.
[118] Menger 1883/1969, с. 167.
[119] Menger 1883/1969, с. 167.
[120] Menger 1883/1969, с. 182.

Тем самым Карл Менгер во многом предвосхитил теорию феноменов третьего вида. В его работе, однако, остался невыясненным вопрос об адекватном объяснительном модусе таких феноменов. Мы узнаем только, что это "должно быть специфическое *социально-научное* объяснение" в рамках "*теоретического* социального исследования"[121]. Следующая глава посвящена объяснительному модусу, который я считаю адекватным.

4.2. Объяснение посредством невидимой руки

Говорят, что на Балканах все люди едят чеснок; я слышал такое объяснение этому: кто-то однажды по ошибке начал это делать, а другие якобы знали, что запах чеснока только тогда не воспринимается как неприятный, когда сам поешь чеснока.

Одна из возможностей испортить шутку состоит в том, чтобы проанализировать ее. И все-таки я это сделаю. Итак, в чем состоит суть этого объяснения? По всей видимости, в эффекте неожиданности, который в нем заключается. Объяснение, хотя и полностью неприемлемое, логически возможно. Объяснение, лежащее на поверхности, что все едят чеснок, потому что он всем нравится, заменяется шутовским тезисом, что все едят чеснок, потому что никто не выносит его запаха. В действительности дело обстоит так: если каждый, кто, попадая в неприятную ситуацию и подвергаясь воздействию запаха чеснока, встречает ее тем, что сам ест чеснок, то в обозримом будущем все будут регулярно есть чеснок, если только кто-нибудь, все равно по каким причинам, начнет

[121] Menger 1883/1969, с. 169.

это делать. При условии, что предпосылки верны, результат неизбежен.

Если употреблять термины представленной здесь теории, обычай есть чеснок, о котором идет речь, — это *феномен третьего вида*; факт, что все едят чеснок, потому что никто не переносит его запаха, — это *парадокс Мандевиля*, а объяснение всеобщего обычая — это *объяснение посредством невидимой руки.*

Здесь я хотел бы прокомментировать форму объяснения посредством невидимой руки или, как я ее в дальнейшем называю, теорию "невидимой руки" (Invisible-hand-Theorie)[122]. Сначала, однако, о самом названии.

Выбор этого названия имеет преимущества и недостатки. Недостаток состоит в том, что метафора "невидимая рука" может ввести в заблуждение того, кто не пользуется ею как термином, поскольку она наталкивает на мысль, что речь идет о чем-то таинственном, непостижимом. В действительности все обстоит как раз наоборот. Теория невидимой руки объясняет структуры и делает видимыми процессы, которые производятся людьми, не подозревающими или даже вообще не замечающими, как они направляются невидимой рукой[123]. Метафору "невидимая рука" ввел Адам Смит, который употреблял ее, кроме знаменитого (процитированного в главе 2.3.) отрывка, и раньше, в других произведениях[124]. Недостаток этой

---

[122] К сожалению, правила словообразования немецкого языка (и русского тоже! — О.К.) не позволяют образовать элегантные немецкие выражения, аналогичные английским "invisible-hand explanation" и "invisible-hand theory". "Unsichtbare-Hand-Erklärung", к сожалению, монстр типа "Flache-Land-Bevölkerung". (Ср.: Vanberg 1984).

[123] Smith 1776/1920, с. 235.

[124] См. об этом: Cropsey 1979, а также: Ullmann-Margalit 1978, с. 287.

метафоры, состоящий в том, что дилетанта она скорее вводит в заблуждение, чем объясняет что-то, компенсируется преимуществом, что она принята и широко известна в политической философии и в теории народного хозяйства.

Само выражение “объяснение посредством невидимой руки” (“invisible-hand explanation”), кажется, ввел Роберт Ноцик:

“Такие объяснения несут в себе нечто прекрасное. Они показывают, как целая структура или целая система, о которой хотелось думать, что она могла возникнуть только в результате нацеленных усилий одного человека или группы, была создана и поддерживалась скорее каким-то процессом, в котором ни в коем случае не ‘была замешана’ ни целая структура, ни целая система. Вслед за Адамом Смитом мы говорим об *объяснениях посредством невидимой руки*”[125].

Обобщая, мы можем снова, вместе с Робертом Ноциком, сказать: “Объяснение посредством невидимой руки объясняет нечто, что выглядит как результат намеренного плана человека, таким способом, который не имеет никакого отношения ни к каким намерениям”[126]. Этот способ — своего рода генетическое объяснение[127]. Он вскрывает сущность феномена, подлежащего объяснению, показывая, как он возник или мог возникнуть. Способ пригоден для объяснения таких областей, как социальные институты, например деньги, мораль, язык, вкус, гетто и т.п.; то есть таких социокультурных упорядоченностей, где легко можно было бы прийти к мысли (и в самом деле не единожды приходили к ней), что они целенаправленно

---

[125] Nozick, без года, с. 32.
[126] Nozick, без года, с. 32.
[127] Hempel 1965, с. 447.

созданы центральной планирующей инстанцией, изобретателем, Богом или Центральным комитетом.

Всем этим институтам — а речь идет исключительно о феноменах третьего вида — свойственно, как мы уже видели в предыдущей главе, что они воспринимаются и могут быть описаны как на микро-, так и на макроуровне. Но из восприятия на одном уровне не следует автоматически восприятие на другом. Мы можем посчитать шикарным, когда из двух одинаковых продуктов выбирают более дорогой; в то же самое время мы можем сетовать на инфляцию. Мы можем плакаться на изменения в нашем языке, ведущие к его распаду, не соотнося этого с нашими собственными языковыми привычками. "Молодежь больше не знает как следует грамматики, потому что они ее вообще больше не учат в школе!" Короче: рассмотрение макроуровня социального института в принципе не зависит от рассмотрения способа индивидуальных действий, которые его порождают. Это верно не только для повседневной жизни, но и для науки. Мы можем нарисовать карту Манхэттена, которая показывает районы проживания различных этнических групп, вообще не задаваясь вопросом о возникновении этой этнической сегрегации. Мы даже можем составить диахроническую карту, из которой, например, можно увидеть, что, скажем, Гарлем был до определенного времени еврейским кварталом, а с некоторого времени его заселяют черные, не обращаясь к перемещению населения и его причинам. В языкознании, как правило, так и поступают. Историки языка вообще констатируют, что определенные слова "вытесняют другие" или "сменяют их", "распространяются", "выходят на передний план", "проникают" — ряд

персонифицирующих метафор можно и продолжить[128]. И только в крайне редких случаях предпринимаются попытки связать эти “распространения”, “нарушения” и “смены” с языковым поведением говорящих индивидуумов, которые их производят. Это значит отказаться от попыток объяснения и довольствоваться констатацией настоящих или имевших место фактов; бывает даже, что описание ошибочно считается объяснением[129].

Объяснение такого двуслойного социального института может состоять только в том, что второй слой — макроуровень института — выводится из первого слоя — микроуровня социальной деятельности индивидуумов. Именно это пытается сделать теория “невидимой руки”. Эдна Ульман-Маргалит характеризует ее следующим образом.

“Объяснение с помощью невидимой руки истолковывает хорошо структурированные социальные модели или институты. Обычно оно просто восстанавливает их появление и первоначальное правдоподобное толкование, в соответствии с которым объясняемые феномены являются продуктами целевого замысла, и вводит контраргумент, согласно которому этот замысел осуществляется в процессе переплетения отдельных действий многих индивидуумов, о которых предполагается, что они имеют в виду собственные дела, не беспокоясь об общем прогрессе и, тем более, не намереваясь способствовать ему”[130].

Вильгельм фон Гумбольдт писал по отношению к языку: “Его истинным определением может (...) быть только генетическое“[131]. Это относится, собственно гово-

---

[128] Ср. Wimmer 1983.

[129] Ср. Köhler, Altmann 1986, с. 254.

[130] Ullmann-Margalit 1978, с. 267.

[131] Von Humboldt 1836/1907, c. 46.

ря, ко всем феноменам третьего вида. Гарлем — это черное гетто, как и Соуэто. Но оба представляют собой феномены, в значительной степени отличающиеся друг от друга. Тогда как одно "выросло органически", то есть является феноменом третьего вида[132], другое является артефактом расистов[133].

Для понимания феномена третьего вида знать сам процесс его образования так же существенно, как и знать результаты этого процесса. Ведь феномен третьего вида — это не одно из двух: процесс образования или результат, — а и то, и другое вместе. То, что мы, упрощая, называем результатами: новонемецкий язык, современная мораль, покупательная способность марки, гарлемское гетто, — это ведь не конечные результаты неких процессов образования, а эпизоды в процессе культурной эволюции, у которых нет ни отмеченного начала, ни отмеченного конца.

Объяснение с помощью невидимой руки отражает три существенных свойства феноменов третьего вида:

(i) факт, что они имеют процессуальную природу;
(ii) факт, что они состоят из микро- и макроуровней, и
(iii) факт, что у них есть общие черты как с артефактами, так и с естественными феноменами.

Теория невидимой руки содержит — в идеальной типизации — три ступени:

---

[132] О теории "резидентской сегрегации" см. Schelling 1969.

[133] Само собой разумеется, я не отрицаю, что при "органичном" образовании гетто расистские мотивы тоже играют роль. Но они действуют по-другому.

1. Изложение или называние мотивов, интенций, целей, убеждений (и тому подобного), которые лежат в основе действий индивидуумов, участвующих в порождении соответствующего феномена, включая обрамляющие условия их деятельности.

2. Описание процесса, каким образом из множества индивидуальных действий возникает объясняемая структура.

3. Описание или называние структуры, произведенной этими действиями.

Простым примером может служить теория возникновения троп, которые тянутся по газонам нашего университета. Сеть этих троп “проложена” чрезвычайно умно, экономично и продуманно. Совершенно очевидно, что ее структура имеет больше смысла, чем структура вымощенных дорожек, запланированных архитекторами. Более того, по карте, на которую были бы нанесены здания и другие сооружения и обозначены их функции, но не дорожки, — по такой карте можно было бы предвидеть, где будут проложены тропы. Система проложенных троп может быть предсказана с гораздо большей долей вероятности, чем система запланированных архитекторами вымощенных дорожек. От чего это зависит? Система проложенных троп имеет более “рациональную” структуру; она “умнее” и элегантнее решает проблемы сообщения. Совершенно очевидно, однако, что для создания системы проложенных троп было затрачено гораздо меньше умственной энергии, чем для проектирования сети вымощенных дорог. Своей “разумностью” система проложенных троп обязана не уму тех, кто ее породил, а их лености. Моя теория невидимой руки по отношению к этой системе заключается в следующем: согласно моей гипо-

тезе, большинство людей похоже друг на друга тем, что предпочитает ходить по более коротким дорогам, а не по более длинным. Я замечаю, что вымощенные дороги не соответствуют этой тенденции, так как они во многих случаях не являются кратчайшей связью между теми пунктами, которые наиболее часто посещают сотрудники университета. Я знаю, что газоны обычно портятся в тех местах, по которым часто ходят. Следовательно, я предполагаю, что система проложенных троп является ненамеренным детерминированным следствием определенных (намеренных, целевых) действий, состоящих в том, чтобы пешком достичь некоторых целей, максимально экономя энергию.

Эта теория содержит три ступени идеально типизированной модели: называются производящие мотивы действия (выбрать путь, экономящий максимум энергии); процесс, управляемый "невидимой рукой", состоит в постепенном разрушении газона в месте, по которому часто ходят; третья ступень представляет структуру, со временем закрепляемую этими действиями, описанием которой я и вознаградил себя.

Эта теория отражает, как полагается, три существенных свойства феномена третьего вида: процессуальность, структурирование из микро- и макроуровня и факт, что она содержит как черты артефакта, так и черты естественного феномена. Теория содержит целевую объяснительную часть, что характерно для толкования артефактов, она содержит и причинную объяснительную часть, что характерно для толкования естественных феноменов.

Теория невидимой руки объясняет явление (феномен третьего вида) как детерминированное следствие индивидуальных намеренных действий, с помощью

которых осуществляются хотя бы частично сходные намерения.

Хотя я еще никогда эмпирически не наблюдал за возникновением прокладываемой тропы, я думаю, что эта теория корректна по сути. (Даже если ее можно сформулировать лучше, чем это сделал я.) Откуда у меня эта уверенность? Может быть, она так же не соответствует действительности, как и теория с чесноком? Что делает объяснение невидимой руки корректным?

Рассмотрим еще раз трехчленную структуру объяснения посредством невидимой руки. Как и каждое объяснение, оно содержит

1) формулировки предпосылок, условий существования антецедента;
2) общие законы;
3) описание или обозначение феномена, подлежащего объяснению.

1) и 2) вместе образуют объяснение; 3) является объясняемым.

У феномена третьего вида на основе условий существования антецедента, в которых оговариваются действия индивидуумов, в силу объективных законов начинается процесс, называемый процессом невидимой руки, процесс, который заканчивается феноменом, подлежащим объяснению.

Наша теория проложенных троп содержит две предпосылки: с одной стороны, высказывания об экологии действий, то есть эмпирические высказывания о структуре университетского кампуса (здания, функции и т. д.), включая описание необходимой связи между его важными пунктами; с другой стороны, к предпосылкам относятся

привычные действия, их мотивы и т.п. (в нашем случае предпосылка о том, что все люди, относящиеся к университету, склонны выбирать пешеходные тропы по принципу экономии энергии).

Всеобщие законы могут иметь логико-математическую или каузальную природу. Пример с проложенными тропами использует всеобщий закон причинности, согласно которому газон портится или вымирает в местах, по которым часто ходят. Теория с чесноком использует логико-математический закон: если едят чеснок почти все люди, контактировавшие с теми, кто ест чеснок, поедание чеснока распространяется, как эпидемия.

В обоих случаях объясняемое явление неизбежно происходит, если верны предпосылки. Вспомним наш исходный вопрос: При каких условиях объяснение с помощью невидимой руки является корректным?

Оно корректно прежде всего тогда, когда оно является верным; оно верно тогда, когда верны предпосылки, “работают” общие законы и процесс невидимой руки неизбежно влечет за собой описанное явление.

Тем не менее в большинстве случаев невозможно установить верность объяснений, даваемых теорией невидимой руки, поскольку невозможно установить истинность существенных предпосылок. Истинность высказываний о мотивах, лежащих в основе способа действий, не поддается ни верификации, ни фальсификации во многом как по техническим, так и по психологическим причинам. Кроме того, процесс невидимой руки часто нельзя пронаблюдать. Объяснение с помощью невидимой руки — это во многих случаях предполагаемая история (см. гл. 2.3.).

Однако все это не должно умалять значения объяснения с помощью невидимой руки. Ведь оно может быть **плохим** или **хорошим** независимо от того, установлена ли

его истинность. Оно является хорошим, если **объяснимы** предпосылки, а процесс невидимой руки имеет **принудительный** характер. Объяснимость и принудительность — это необходимые критерии адекватности теории невидимой руки.

Теория о чесноке была принудительной. В этом состоит ее ошеломляюще-анекдотичная значимость. Но ее предпосылки не имеют объяснительной силы. Если бы я не выносил запаха чеснока, я бы скорее стал избегать тех, кто его ест, а не есть его сам; так как мне не понравился бы мой собственный запах, я бы постарался прежде всего избежать того, чтобы отягощать им других, тех, кто так же как и я не выносит его. Напротив, сила теории проложенных троп состоит в объяснимости предположения, что люди склонны выбирать скорее короткие дороги, чем длинные, и в непреложности, с которой при определенных обстоятельствах — если верны предпосылки — прокладываются тропы.

Предположим, что между входом в университетскую библиотеку и входом в столовую расположен большой газон, а вымощенная дорога огибает его под прямым углом. Это идеальная предпосылка для возникновения новой тропы.

Можно ли спрогнозировать, что такая тропа действительно возникнет? Если бы такая ситуация возникла сейчас в Федеративной Республике, я был бы готов поспорить на это, хоть и не дал бы за это голову на отсечение. Но как бы мы стали судить об этом, если бы нам пришлось представить такую ситуацию в теперешней Северной Корее, или в Берлине 200 лет назад, или здесь у нас через 200 лет? Я был бы не готов к спору. Чтобы оценить, как стали бы действовать люди, мне не хватает знаний. Есть ли запреты ходить по газону? Насколько сильны эти запреты? На-

сколько дисциплинированны люди, о которых идет речь? Как они относятся к нарушениям правил? Каково их отношение к газонам?

Я даже не готов отважиться на долгосрочный прогноз своего собственного поведения. К примеру, сейчас я готов время от времени, сокращая дорогу, ходить через газон, но не через цветочную грядку или цветущий шафрановый луг. Будет ли моя готовность больше или меньше через 25 лет, потому, например, что я перенесу на траву защитную реакцию, которая у меня есть по отношению к цветам? Возможно как то, так и другое.

Это показывает, что прогностическая ценность объяснений с помощью невидимой руки очень ограничена, но во всяком случае допускает прогнозы предположительного характера: "Если люди действуют по таким-то правилам, то при таких-то условиях возникнет такая-то структура". Мы знаем "прогнозы" такого рода из области народного хозяйства; оттуда же мы знаем, как они ненадежны.

Для более сложных, чем система проложенных троп, феноменов третьего вида вряд ли можно составить отдельные прогнозы; здесь допустимы только общие структурные так называемые "pattern predictions" ("образцовые прогнозы"). Закон силы тяжести позволяет прогнозировать поведение яблока. Так называемые законы рынка, напротив, позволяют прогнозировать не состояние занятости безработного Мейера, а только развитие "безработицы". Можно отважиться на прогноз, что безударные слоги в немецком языке будут "сглаживаться" и в дальнейшем; но нельзя спрогнозировать, превратится ли через несколько сот лет *haben* в *ham*. Это можно только предположить.

Теория невидимой руки не обладает прогностической силой в том смысле, в каком обладают ею, скажем, физические теории. Причина кроется в непрогнозируемости

предпосылок. Они позволяют только экстраполяцию тенденций:

"Если будет иметь место то-то и то-то, то люди поведут себя, вероятно, так-то и так-то и тогда возникнут такие-то и такие-то структуры".

Экономистам представляется случай пожалеть о недостаточности прогностической силы их теории невидимой руки; для лингвистики это не является недостатком. Во-первых, было бы ошибкой полагать, что в области духовных и социальных наук "научность" теории соотносится с ее прогностической значимостью, а во-вторых, невелика практическая потребность в лингвистических прогнозах.

Теория невидимой руки имеет прежде всего *диагностическую* значимость. Попросту говоря, она объясняет, не то, как пойдет дело дальше, а то, как возникло данное состояние.

Можно было бы, однако, возразить: Для чего же нужен диагноз, если не для ориентации на будущее? Смысл медицинского диагноза состоит как раз в том, чтобы служить основой терапии. Диагнозы ставят не ради них самих.

Чтобы оценить значимость диагностической теории языка, нужно вспомнить, что сказано в главе 1.4: у феноменов третьего вида сущность, изменения и генезис находятся в тесной связи. В нашу задачу не входит предсказывать структуру поздненововнемецкого. Но мы хотели бы способствовать *пониманию того, что мы делаем, когда общаемся.* Когда мы поймем постулаты и правила общения, мы поймем и то, почему наш язык изменился с течением времени и почему он будет меняться и в дальнейшем. Ведь завтрашние изменения — это коллективные следствия наших сегодняшних коммуникативных действий. Мы должны попытаться вскрыть те мотивы и прави-

ла наших коммуникативных действий, которые приводят в движение процессы невидимой руки и завершаются образованием структур, подлежащих объяснению.

Несмотря на ограниченную прогностическую значимость, (хорошие) объяснения с помощью невидимой руки — объяснения в строгом смысле слова. Существуют и другие мнения. Роджер Лэсс, к примеру, в книге “Об объяснении языковых изменений”[134] считает, что эти изменения нельзя объяснить, потому что в области языка нет прогнозов. Поэтому языковые изменения нельзя и прогнозировать. Здесь смешиваются истина и ложь. Истинно то, что в области человеческих действий нет законов, согласно которым люди при определенных условиях избегали бы того или иного омонима или не ходили бы через газон. Истинно и то, что по этой причине нельзя спрогнозировать исчезновение определенного омонима или возникновение определенной тропы. Ложно то, что по такой причине этому в строгом смысле не может быть никакого объяснения. Это не то место, где можно искать и требовать законов. Действия людей относятся к условиям антецедента, а для их наступления не существует законов. Законы допускают прогнозы, *если* выполнены условия антецедента. Если говорящие на каком-то языке перестают употреблять определенное слово, оно исчезает из языка; если часто наступать на одно и то же место газона, оно будет вытоптано. Корректное впечатление о тривиальности этих прогнозов проистекает из силы законов, лежащих в их основе!

Языковые изменения (в принципе) объяснимы на основе законов. Но их нельзя спрогнозировать, и не потому, что законов не хватает, а потому, что нельзя предсказать

---

[134] Lass 1980, c. 9.

выполнение предпосылок. Это объединяет язык с так называемыми хаотическими системами, такими как погода: "Следует подчеркнуть, что поведение хаотических систем недетерминировано не само по себе. Можно даже математически доказать, что достаточно начальных условий, чтобы точно и однозначно определить все будущее поведение системы. Трудности возникают, если мы попытаемся назвать эти начальные условия"[135]. В большинстве случаев мы констатируем, предпосылки *были* выполнены, только пост фактум, когда уже существует то, что требуется объяснить. Это означает, что мы знаем то, что требуется объяснить, знаем законы и реконструируем предпосылки. В этом состоит фокус диагностического объяснения. Экстраполяции тенденций — это прогнозы не на основе неточных законов, а на основе неточных предпосылок[136].

Объяснения посредством невидимой руки часто несут в себе момент неожиданности[137]. Возможно, именно поэтому они, как считает Ноцик, "несут в себе нечто прекрасное"[138]. В этом свойстве, однако, следует видеть не только их развлекательную значимость. Момент неожиданности находится в тесной внутренней связи с их объяснительной силой.

Объяснительная сила теории заключается, однако, не только в ее истинности или убедительности. Циркулярные объяснения являют собой пример истинных объяснений без объяснительной силы. Они образуют одну крайнюю точку континуума. Объяснения с помощью невидимой руки находятся достаточно далеко, на другом конце континуума. Параметром размещения на континууме объясни-

---

[135] Davies 1987/88, с. 79 и далее.
[136] Ср. Keller 1989.
[137] Ср. Ullmann-Margalit 1978, с. 271.
[138] Nozick , без года, с. 32.

тельной силы является удаленность области, из которой происходят объясняющие понятия, от области объясняемого. Циркулярные объяснения представляют собой крайность: удаленность объясняющих понятий от объясняемых равна нулю. Эти понятия идентичны. В объяснениях с помощью невидимой руки эта удаленность в типичных случаях очень велика. В то время как центральные понятия объясняющего относятся в большинстве своем к области психологии и социологии, объясняемое относится, как правило, к таким областям, как философия государства и права, лингвистика, экономика и тому подобное, или оно представляет собой геометрические или иные структуры. По всей видимости, мы воспринимаем объяснения тем удовлетворительнее, чем меньше применяемые в них понятия напрямую соотносятся с объясняемым предметом. Еще больше увеличивается эта дистанция формой объяснения через парадокс Мандевиля (леность — умная структура проложенных троп, эгоизм одного — благосостояние всех, стремление к безопасности движения — пробка на дороге).

Радль, знаток философии шотландских просветителей, в произведении “История биологических теорий” назвал этот способ объяснения “психолого-логическим методом”. Он так характеризует его. Начинают обычно с “психологического анализа общества” с целью выделить один-два “основных принципа” и интерпретировать их как “движущую силу”. Потом применяется “метод дедукции” и описывается, “что может произойти в обществе”, которое следует выведенным основным принципам. Выражением “психолого-логический метод” Радль метко охарак-

теризовал этот способ объяснения. Теория невидимой руки представляет собой обобщение этого метода[139].

Рассмотрим один пример из немецкого языка. В нашем языке выражения, служащие для обозначения женщин, снова и снова подлежат пейоризации (приобретают отрицательно-оценочный смысл — О.К.). Эта судьба настигла слово "Weib", слово "Frauenzimmer", кажется, она не обойдет и слово "Frau". Каким образом это происходит?

Представители линейного мышления могут углядеть в этой тенденции скрытую враждебность общества по отношению к женщине, что ведет отдельных говорящих к тому, чтобы со временем употреблять такие слова каждый раз "немножко пейоративнее". Но как сделать так, чтобы употребить слово "немножко пейоративнее"? Альма Грэхем постулирует "тенденцию в языке", которую можно назвать "хвалить его / срамить ее"[140].

Пейоризация выражений "Weib", "Frau" и подобных им вызвана, однако, не правилом "срамить ее", а скорее правилом "хвалить ее". Здесь в очередной раз идет речь о парадоксе Мандевиля, когда каждый хочет только хорошего, а создает пейоризацию.

В обществе, которое, как наше, соблюдает вежливые традиции, по отношению к женщинам существует правило предупредительности. Мужчины помогают женщинам надеть пальто, предлагают им стул, подносят им огонь и т.п. Часть этого предупредительного поведения составляет тенденция выбирать по отношению к женщинам или когда говорят о женщинах выражения, которые скорее относятся к более высокому, чем к более низкому стилю или социальному положению. Правило звучит, таким образом, не

---

139 Rádl 1909, с. 125 и далее.á

140 Graham 1975, с. 61.

“срами ее”, а, говоря небрежно, “если сомневаешься, выбирай слова лучше на этаж выше, чем на этаж ниже”. Со временем это ведет к тому, что тенденциозно выбранное слово “более высокого уровня” становится немаркированным нормальным выражением, тогда как слово, бывшее раньше нормальным, пейоризуется. Так, сегодня в ресторанах надпись на туалете “Damen” является нормой, тогда как “Frauen” скорее соответствует стилю общественных нужников. Формулировка “Wie geht es Ihrer Frau?” в некоторых ситуациях считается неприличной; следует говорить “Frau Gemahlin” или “Gattin”.

Названная максима, разумеется, имеет вес только тогда, когда играется предупредительно-вежливая игра. Где ее нет, там может показаться даже оскорбительным или педантичным, если называть женщин выражением “дамы”. В предложении “мужчины и женщины, ставшие невинными жертвами нападения...” замена выражения “мужчины и женщины” на “дамы и господа” была бы просто непочтительной. Это означает, что выбор слов в этом лексико-семантическом поле не имеет ничего общего с почитанием или пренебрежением вообще, с вежливостью как таковой или с объективным социальным положением соответствующих лиц; он зависит от того, уместно ли вести вежливую игру или нет. Поэтому в теннисных клубах есть “дамские секции” (“Damenabteilungen”); в клиниках есть “женские отделения” “Frauenabteilungen”), в которых, однако, находятся “дамские туалеты” (“Damentoiletten”). “Защитница дамских прав” (“Damenrechtlerin”) звучит так же несуразно, как “выбор женщин” (“Frauenwahl”) на танцевальном вечере.

Итог. Мотив вежливости на уровне личности в долгосрочной перспективе на уровне языка как будто направля-

ется невидимой рукой и ведет к пейоризации. При этом речь идет об одной из форм инфляции[141].

На этом примере можно еще раз пояснить вопрос о пользе объяснений с помощью невидимой руки. Предположим, я хорошо объяснил явление пейоризации: Чего достигает такое объяснение, а чего не достигает? Оно не годится для прогнозирования развития значения слов “Frau” или “Dame”. Но оно допускает структурный прогноз в том смысле, что и в дальнейшем, если останется в силе заповедь вежливости, будут возникать и пейоризации. Как долго будут еще вести вежливую игру, зависит от многих общественных факторов, по поводу которых я не хотел бы здесь объясняться.

И все-таки я считаю, что объяснение, несомненно, обладает диагностической ценностью. Кроме того, последняя возрастает по мере того, как объяснение детализируется и уточняется историко-лингвистическими исследованиями, проясняя нам одну из функций нашего говорения и ее макроструктурные воздействия.

“(...) как теоретики мы ничего не узнаем о *языке* людей, пока мы не поймем их говорения”[142], — говорит, немного преувеличивая, Петер Ф. Стросон. Но речь бы не шла о преувеличении, если бы в основе своей это не было так верно.

---

[141] Об инфляции в области культуры см. Gombrich 1979/1983, гл. II.

[142] Strawson 1971/1974, с. 55.

4.3. Причинные, целевые и функциональные объяснения

Сравнение процесса производства языковых феноменов с аналогичным процессом прокладывания троп не является новым. Уже в 1912 году Фриц Маутнер совершенно в нашем духе писал: “Если все крестьяне какой-то деревни думают, что дорога, например, к ближайшей церкви или ближайшему трактиру удобнее всего будет идти через определенный луг, то совершенно механически образуется вытоптанная тропа, на которой больше не растет трава. (...) Тогда прекрасно можно образно говорить о некоем законе природы. (...) Конечно, нет (...) никакого активного закона природы, который погнал бы деревню на кратчайшую дорогу (...); да и деревни нет, есть только крестьяне; (...) есть только, с одной стороны, крепче утоптанные комки глины, с другой стороны, — шаги идущих крестьян (...). Только каждый раз там, где сугубо индивидуальный крестьянин в какой-то момент поднимает свою индивидуальную ногу, чтобы сделать шаг в определенном направлении, действует психологический фактор, который, смотря по обстоятельствам, называется волей или привычкой. (...) Совершенно так же обстоит дело и с теми движениями человека, которые обобщаются именем “язык”[143].

Маутнер писал это, принимая во внимание тезис младограмматиков о том, что звуковые законы не знают исключений. Очевидно, что он четко понимал взаимодействие целевых и причинных моментов.

Взаимное влияние двух факторов в процессе языковых изменений или, что то же самое, в становлении языкового состояния, было известно, как мы видели, уже в конце XIX

---

[143] Mauthner 1912/1982, с. 93 и далее.

века. Макс Мюллер писал: “Процесс, благодаря которому язык получает определенный образ (...), объединяет в себе оба противоположных элемента: необходимость и свободную волю”[144]. Уильям Д. Уитни писал несколько позднее: “Процесс создания языка (...) протекает как сознательно, так и бессознательно, если принимать во внимание его дальнейшие последствия”[145].

Несмотря на это правильное и в каком-то смысле решающее понимание, обоим лингвистам не удалось плодотворно использовать его для создания определенного языкового понятия, которое имплицировало бы идею развития. Взаимодействие двух “противоположных” факторов представляет собой, по всей вероятности, общий признак эволюционных процессов. Взаимодействию “свободной воли и необходимости”, подмеченному Максом Мюллером для области языкового развития, соответствует в области развития живой природы взаимодействие факторов “случайность и необходимость”.

Странным образом подход Мюллера - Уитни не разрабатывался дальше. Более того, о нем забыли, по крайней мере, в области языкознания. Вместо того, чтобы подумать, как могло бы выглядеть это взаимодействие, снова сконцентрировали внимание на старом ложном пути, а именно на вопросе о том, является ли языковое развитие целевым или причинно детерминированным процессом. “Время изменяет все; нет причины, следуя которой язык был бы исключен из этого общего закона”, — с обескураживающей простотой находим в Соссюровском “Кур-

---

[144] Ср. гл. 3.2.
[145] Ср. гл. 3.2.

се”[146]; а Армин Айрен, вторит ему, меняя вещи местами: “Язык живет, а что живет, изменяется”[147].

В современной лингвистике первым среди известных мне авторов, кто подверг фундаментальной критике причинную детерминированность языковых изменений и решительно отверг ее, был Евгений Косериу. В труде “Синхрония, диахрония и история”, который появился на испанском языке уже в 1958 году и который и сегодня можно рассматривать как основополагающую работу по теории языковых изменений, Косериу пишет: “Это представление о причинной детерминированности (...) является пережитком старого взгляда на язык как на “естественный организм”, а также позитивистской мечты открыть мнимые языковые ‘законы’ и превратить языкознание в ‘точную’ науку, аналогичную естественным”[148]. Однако, как показали новые работы по теории грамматики, эта “позитивистская мечта” частично все-таки осуществилась. Тот, кто, как Хомский и его школа, ищет генетическую детерминированность структур человеческих языков, движется в области гуманной биологии[149] и, вероятно, по праву заявляет для своих целей претензию на подходы, применяемые в естественных науках, на “галилеевские методы”, как их до сих пор называли. Поскольку однако генетически детерминированная часть языковой способности не затрагивается историческим развитием языков (если отвлечься от филогенетических изменений нашего типа), а эта часть представляет собой только ограничительную рамку возможных изменений, Косериу по существу прав: причинно

---

[146] De Saussure 1916/1967, с. 91.

[147] Ayren 1986, с. 110.

[148] Coseriu 1958/1974, с. 152.

[149] Ср. Grewendorf, Hamm, Sternefeld 1987, с. 22 и далее. Ср. гл. 5.3.

детерминирующие теории не применимы к языковым изменениям. Однако, формулируя свою альтернативу, он обнаруживает, что сам он еще (или снова) находится в плену дихотомии "естественный — искусственный": "В природных феноменах без сомнения следует искать внешнюю необходимость или причинность, в культурных феноменах, напротив, — внутреннюю необходимость или финальность"[150].

Тезис финальности Косериу выводит из корректной предпосылки о том, что "язык является предметом не природы (...), а культуры"[151], что он "мир, созданный людьми"[152], объединяя ее с ложной догматической предпосылкой, гласящей, что предметы культуры, созданные людьми, неизбежно должны иметь целевое объяснение, "поскольку свободная человеческая деятельность всегда мотивируется вопросом **Для чего?,** а не вопросом **Почему?**"[153].

Как и у авторов XIX века, заблуждавшихся в дихотомии "естественный — искусственный", у Косериу тоже чувствуется недовольство и стремление к какому-то выходу. Разумеется, ему тоже ясно, что говорящие, как правило, не имеют намерений изменить свой язык и что изменения, как правило, не осознаются ими как таковые. Так, он справедливо критикует введенное Генри Фрисом понятие "неосознанной финальности", считая, что оно вводит в заблуждение, сам, однако, не может его прояснить: "Верно (...) только то, что — исключая (...) особые случаи — финальность проявляется спонтанно и непосредственно в связи с потребностями языкового выражения, а не как

[150] Coseriu 1958/1974, с. 166 и далее; ср. также Coseriu 1983.
[151] Coseriu 1980, с. 143.
[152] Coseriu 1958/1974, с. 155.
[153] Coseriu 1980, с. 142.

обдуманное намерение изменить надындивидуальный язык”[154].

Но тогда в каком смысле оправданно говорить о финальности?

Как мы видели, финальность действительно играет в языковых изменениях определенную роль — но во взаимосвязи с причинными процессами.

Результаты целенаправленных, или, как я предпочел бы сказать, интенциональных[155] действий при определенных условиях накапливаются и ведут к образованию структур, которые не относятся к области целенаправленности действий отдельных индивидуумов. Накопление — это причинный феномен. Тем самым обе стороны: и целевики и причинники — участвуют в истине. Их ошибка заключается в исключительности, то есть в том, что ни те, ни другие не признают взаимодействия целевых и причинных процессов. Возможно, это неприятие взаимодействия проистекает из односторонности перспективы рассмотрения. Тот, кто рассматривает языковые изменения с точки зрения языковых феноменов, воспринимает их как причинно обусловленные. И так оно и есть. Например, факт, что люди — не важно, по каким причинам — стали предпочитать другое выражение, обусловил исчезновение из нашего языка слова “englisch” в значении “ангельский” — “engelhaft”. Неупотребление какого-то выражения ведет к обрыву эстафеты “учитель — ученик”, а это обусловлива-

[154] Coseriu 1958/1974, с. 170 и далее.

[155] Финалистское объяснение — это интенциональное объяснение, направленное вперед. Оно объясняет вопрос “Для чего?”. Вопрос “Почему?”, однако, не обязательно должен запрашивать о причинах; он может запрашивать об основаниях. Ответ на вопрос об основаниях — это тоже интенциональное объяснение, интенциональное объяснение, направленное назад.

ет (в строго детерминистском смысле) “исчезновение” этого выражения из языка.

Напротив, тот, кто рассматривает языковые изменения с точки зрения общающихся людей, обнаружит только целевую обусловленность. Однако (в общем случае) целевую обусловленность, направленную не на изменения, а на успех той или иной отдельной коммуникативной цели. Кто говорил об “ангельской девушке” (vom englischen Mädchen), имея в виду ее ангельский образ, в определенный период времени рисковал успехом своего коммуникативного предприятия, поскольку был велик риск остаться непонятым. Его отказ от слова “englisch” (в этом значении) был, следовательно, не **причинно обусловлен (**например, омонимией), а **обоснован** желанием избежать непонимания. Омонимия представляет собой не причину изменений, а, как правильно отмечает Косериу, **условие**, при котором все говорящие склоняются к выбору альтернативного выражения из обоих омонимов в тех ситуациях, когда они предполагают, что иначе их не поймут.

При этом, однако, целевым феноменом становятся не **языковые изменения**, поскольку они не входят в намерения говорящего. Целевым является только выбор альтернативного выражения в контекстах, ведущих к непониманию. Наступающее в результате изменение есть причинное следствие этого выбора.

Рассмотрим оба следующих типа утверждений, которые можно найти в любой истории языка:

(1) Причиной исчезновения из нашего языка слова *englisch*$_1$ (в значении “ангельский”) была омонимия со словом *englisch*$_2$ (“британский”).

(2) *Englisch*$_1$ исчезло из нашего языка, потому что было омонимом *englisch*$_2$.

Итак, эти утверждения являются ложными? Или они не обладают объяснительной силой? Они не совсем ложные и создают видимость объяснительной силы. Но если присмотреться повнимательнее, сразу становится ясно, что для исчезновения *englisch*$_1$ омонимия не была ни необходимой, ни достаточной: разве *englisch*$_1$ не исчезло бы, если бы не было омонимично с другим словом? Может быть, нет, а может быть, да; никто этого не знает. Должно ли было *englisch*$_1$ неизбежно исчезнуть на основе омонимии? Нет. Во-первых, в нашем языке достаточно омонимов, не вызывающих так называемого бегства слов, могло бы исчезнуть и быть замененным другим словом и *englisch*$_2$.

Отчего многие лингвисты охотно считают такие высказывания, как (1) и (2) объяснениями? Как вообще можно прийти к мысли, что перед нами объяснение, если называют два факта, из которых ни один не является ни необходимым, ни достаточным для возникновения второго, не говоря уже о том, что эти условия должны быть соблюдены вместе? Здесь злоупотребляют применением выражений "причина" и "потому что", которые придают утверждениям (1) и (2) видимость объяснительной силы. Рассмотрим последовательно основания и причины исчезновения.

Слово *englisch*$_1$ исчезло из языка не потому, что оно было омонимичным к *englisch*$_2$, а **потому что** в определенный период времени его больше не было в словаре носителей языка. Его больше не было в словаре, **потому что** его больше не учили в этом употреблении. Его больше не учили, **потому что** те, кто еще владел этим словом, избегал его в пользу альтернативных выражений, как например *engelhaft*. Они избегали *englisch*$_1$, ***потому что*** они не хотели рисковать быть непонятыми. Этот риск имел место,

потому что слово *englisch*$_1$ было омонимом к *englisch*$_2$ и **потому что** значение *englisch*$_1$ и *englisch*$_2$ было таково, что почти в каждом высказывании, содержавшем слово *englisch*$_1$, оно могло быть заменено на *englisch*$_2$, что не привело бы к искажению смысла соответствующего высказывания (хор ангельских / английских девушек, ангельское / английское приветствие, ангельские / английские обычаи, ангельские / английские чудеса)[156].

Наоборот этого было сделать нельзя (английский газон, английский платок, английская лошадь и т.п.), то есть *englisch*$_2$ в большинстве контекстов нельзя заменить на *englisch*$_1$, не сделав высказывание бессмысленным (или странным, или невероятным и т.п.). **Поскольку** наоборот замена не шла, употребление *englisch*$_2$ было в гораздо меньшей степени подвержено риску неправильной интерпретации. ***Поскольку*** из омонимичной пары *englisch*$_1$ было более рискованным для успешной коммуникации, а *englisch*$_2$, вероятно, чаще употреблялось и **поскольку** наличием существительного *Engel* (ангел) и словообразовательными возможностями немецкого языка легче создавались альтернативы к *englisch*$_1$, чем к *englisch*$_2$, люди скорее склонялись к тому, чтобы избегать употребления *englisch*$_1$, чем *englisch*$_2$.

Для всех этих объяснительных шагов в форме цепочки с *потому что* высказывание (2) в лучшем случае представляет грубо отесанное “сокращение”. (Мне кажется, мы склонны считать такое сокращение объяснением между прочим еще и потому, что мы в своем обиходном языке склонны считать отношения с *потому что* транзитивными.) Если же такое “сокращение” разложить по полочкам, то оно становится реконструкцией пути от мотивов дейст-

---

[156] Ср. Grimmisches Wörterbuch.

вующих индивидуумов до вытекающих из них изменений в макрообласти и тем самым становится объяснением посредством невидимой руки.

Предложения с *потому что* из нашего объяснения не всегда могут быть трансформированы в эквивалентные предложения, содержащие слово "причина" (поэтому высказывания (1) и (2) не эквивалентны), так как мы употребляем *потому что* как для выражения основания (интенциональное значение), так и для выражения причины (каузальное значение):

(i) Я написал тебе, потому что хотел доставить тебе радость.
(ii) Я вымок, потому что упал в воду.

В предложении (i) *потому что* выражает отношение обоснования ("А потому что В" означает здесь, что "В является основанием / одним из оснований для А", в то время как в предложении (ii) выражается отношение причина — воздействие ("А потому что В" означает здесь "В является причиной для А"). Мы можем назвать первое *потому что* интенциональным, а второе — каузальным. Интенциональному *потому что* соответствуют вопросы как *почему?* , так и *для чего?* Каузальному *потому что* соответствует только вопрос *почему?* Ответы на вопрос *для чего?* можно назвать финальными объяснениями. Однако поскольку каждый вопрос *для чего?* можно переформулировать в эквивалентный (интенциональный) вопрос *почему?* , нет нужды различать направленное вперед финальное объяснение и соответствующее объяснение, направленное назад, а можно в общем плане говорить об общих интенциональных объяснениях или вопросах.

Наше объяснение будет точнее, если мы переформулируем его в предложения, содержащие слова “причина” или “основание”; или если мы будем отличать каузальное *потому что* от интенционального. Я уже сделал это, не оговаривая специально: ***полужирный курсив*** символизирует интенциональный союз, только **полужирный шрифт** символизирует каузальный союз. Кто еще раз захочет посмотреть нашу цепочку с *потому что / поскольку*, должен будет признать: исчезновение $englisch_1$ есть каузальное следствие индивидуальных интенциональных действий, которые осуществляют хотя бы частично сходные намерения[157].

Строго говоря, объяснение этим еще не совсем закончено. Объяснения требует, кроме всего прочего, время исчезновения. Кажется, это случилось примерно в середине прошлого столетия. Почему именно тогда? Почему не раньше и не позже? Может быть, в процессе индустриализации вдруг стали больше говорить об Англии, а не об ангелах? Или по каким-то причинам стало модным чаще подчеркивать ангельскую сущность, так что стал заразительным скрытый конфликт омонимов? В следующей главе я вернусь к этому.

Делаются упреки и в том, что объяснения посредством невидимой руки не учитывают социальных и исторических фактов. Эти упреки так же мало обоснованы, как если бы упрекать дарвинистскую теорию в том, что она не учитывает климата. Социальные и исторические факты, как и языковые, относятся к факторам, которые, действуя вместе, мотивируют говорящих на одном языке (или некоторых из них) модифицировать свой способ высказывания, отдавая предпочтение определенным выражениям. Они

---

[157] Ср. гл. 4.2.

являются, так сказать, экологическими условиями действий.

Объяснения посредством невидимой руки и исторические объяснения — это не альтернативные объяснительные формы, как это до сих пор утверждалось. Более того, исторические описания представляют собой (наряду со многим другим) возможные факторы, влияющие на коммуникативный способ действия говорящих. Однако объяснение всегда должно исходить из способа действий индивидуумов. Нет прямого пути от исторических фактов к языковым, который мог бы претендовать на то, чтобы быть объяснением.

Итак, мы видели, что объяснение генезиса языкового факта не может быть сформулировано ни как только интенциональное или финальное, ни как только каузальное. Те, кто говорит о "причинах языковых изменений", могут искать оправданий в том, что они не так точно понимали слово "причина". Под ним они понимали факторы, которые являются основанием для коммуникативного способа действий говорящих. Но как тогда объяснить заблуждение, что теория языковых изменений всегда должна быть целевой?

Я думаю, что для этого заблуждения существует две причины. Во-первых, существование старой дихотомической догмы: "В природных феноменах всегда следует искать внешнюю необходимость, или *каузальность*, в культурных феноменах, напротив, — внутреннюю необходимость, или *финальность*"[158]. Во-вторых, как мне кажется, ошибка покоится на молчаливом признании предположения, что функционалисткое объяснение непреложно

[158] Coseriu 1958/1974, с. 166.

является и целевым; или, выражаясь по-другому, только целевое объяснение может быть функционалистким.

Действительно, нет ничего проще предположить, что продукты культуры, имеющие определенную функцию, и сделаны *как раз для того*, чтобы выполнять эту функцию. Языковые явления обладают многими определенными функциями, следовательно, если хочешь объяснить их функциональность, нужно ставить вопрос о цели. Об этом ясно и понятно говорит Роннебергер-Зибольд: "Пытаясь искать объяснения языковым изменениям в удовлетворении потребностей говорящих, мы прибиваемся к группе 'целевиков' (..), у которых вопрос звучит '*для чего* говорящие изменяют свой язык'?"[159].

В главе 1.4 я уже показал, что вопросы о генезисе и функции тесно связаны. Еще раз повторяю: если бы мы знали, **для чего** мы применяем свой язык, мы бы знали, **почему** он в процессе коммуникации постоянно изменяется. Объяснение посредством невидимой руки объясняет тем самым не только процесс генезиса, но одновременно является и функционалистким объяснением. Это требует пояснительного комментария.

Когда мы ставим вопрос о функции относительно социальных учреждений, или систем вообще, мы должны различать две вещи: вопрос о функции системы в социальной жизни соответствующей группы, в которой действует соответствующее социальное учреждение, и вопрос о функции частей системы в самой системе.

Кажется бесспорным, что язык обладает для нас людей некоторой функцией. Но в чем она состоит или первоначально состояла, не представляется уже таким бесспорным. Язык служит для обмена мыслями, для сообщения

---

[159] Ronneberger-Sibold 1980, с. 37.

приобретенных знаний, для координации охоты и тому подобное. “Возрастающая кооперация в социальных союзах, в том числе, например, и в применении орудий труда, и в групповой охоте, потребовала более дифференцированного понимания. В качестве нового **транспортного средства для потока информации** выступает словесный язык человека”, — пишет Гюнтер Оше[160]. Чтобы быть полезным для координации групповой охоты, язык (и интеллект говорящих) должен быть уже хорошо развит. В истории о Карлхайнце[161] я исходил из того, что язык прежде всего является средством влияния на себе подобных. У этого предположения три преимущества. Оно позволяет объяснить, почему владеть этим средством лучше, чем другие, уже является преимуществом для о т д е л ь н о г о человека (прежде всего, когда это средство играет роль для выбора партнера). Во-вторых, не надо предполагать никакого принципиального скачка от животной коммуникации к человеческой. Ведь теории скачкообразности всегда оказываются перед проблемой дополнительного объяснения самого скачка наряду с тем, что́ собственно они хотят объяснить, на чем споткнулся уже Гердер. (Замечу между прочим: если придерживаться мнения, что в развитии не было скачков, что оно протекало непрерывно, то это вовсе не обязывает к (неправомерной) точке зрения, что оно происходило с постоянной скоростью). В-третьих, предположение о том, что функция языка в первую очередь заключается во влиянии на соплеменников, согласуется со взглядами современных философов языка, которых можно воспринимать серьезно, например

[160] Osche 1987, с. 509.
[161] Ср. гл. 2.1.

со взглядами Герберта П. Грайса[162]. Другие названные функции, которые, несомненно, тоже есть у нашего развитого языка (сообщать мысли, координировать охоту и т.п.), не следует ни отрицать, ни пренебрегать ими; более того, речь идет о функциях, производных от воздействующей функции. Для чего я сообщаю Вам свои мысли? Конечно, чтобы повлиять на Вас: чтобы укрепить Вас в Ваших воззрениях или чтобы модифицировать их.

Что вообще означает функционалистское объяснение? Функция вещи (системы, части системы) — это ее вклад в функционирование[163] вышестоящей системы, на службе которой она состоит. Часы состоят на службе у людей, стрелки — на службе у часов. Итак, функционалистское объяснение предмета (в самом общем смысле) в общих чертах объясняет, почему он есть, почему он еще есть, а также почему его больше нет. Общая форма приписывания функций, по мнению Эдны Ульманн-Маргалит, такова:

“Функцией X в системе S является F.

Это означает:

У системы S есть задача, или цель, Z, и функционирование X или посредством X является существенным элементом объяснения Z”[164].

Проиграем эту схему на каком-нибудь примере, подставив в нее:

X: почка

S: человеческий организм

---

[162] Ср. гл. 2.1.

[163] Только кажется, что это циркулярное утверждение. Поскольку сказать, ка́к что-то функционирует, не означает сказать, какая у него функция.

[164] Ullmann-Margalit 1978, с. 279 (перевод мой — Р.К.)

Z: выживание
F: очищение крови

(При замене переменных неизбежно нарушается стиль).

“Функцией почки в человеческом организме является очищение крови”, —

следуя нашей схеме, означает:

“Целью человеческого организма является выживание, а очищение крови почкой — существенный элемент объяснения выживания”.

Если мы хотим выяснить функцию языка или его элементов, мы должны искать подходящие убедительные замены для S, Z и F.

Что касается функции языка, у меня такое предложение:

X: язык
S: человек
Z: социальный успех
F: воздействие

“Цель человека — социальный успех, а воздействие посредством языка — существенный элемент объяснения социального успеха”.

Есть похожая альтернатива, но я считаю, что она хуже:

X: язык

S: общество
Z: коммуникация
F: обмен мыслями

“Целью общества является коммуникация, а обмен мыслями — это существенный элемент объяснения коммуникации”.

Почему этот вариант хуже? Рассмотрим по порядку переменные. Замена понятия “человек” на “общество” приносит с собой новую проблему, требующую объяснения. Что означает сказать о коллективе, что у него есть цели, если этих целей нет у индивидуумов коллектива? Коллективистские понятия должны обладать способностью редуцироваться до индивидуальных, иначе они теряют объяснительную ценность. Способность к редукции означает в этой связи, что можно предсказать, как конструируется высказывание о коллективе из высказываний об индивидуумах этого коллектива. То, что у немцев в среднем по 2,3 ребенка — допустимое в этом смысле высказывание, так как оно выведено из количества детей индивидуумов. “Немецкий народ стремится к единству” — недопустимое (так, как оно здесь употреблено) в этом смысле высказывание. Если бы общение имело преимущества для общества и не имело их для индивидуумов, было бы трудно объяснить, как мог бы утвердиться такой обычай и, даже если он был бы введен умной “инстанцией” сверху, как он бы мог сохраниться.

Как обстоит дело с двумя оставшимися переменными Z и F? Верно, что обмен мыслями — существенный элемент объяснения коммуникации. Но если верно, что общаться означает пытаться побудить другого к чему-то, а именно тем, что даешь ему понять, что хочешь от него ка-

ких-то результатов, то из этого следует, что общение — это вид воздействия и что обмен мыслями — его частный случай, с помощью которого дают что-то понять. Как видим, этот функциональный анализ понятийно близок к тавтологии, так как понятие обмена мыслями содержится в определении коммуникации. Если бы мы по вышеуказанным причинам снова превратили "общество" в "человека", то второй вариант был бы эквивалентен ничего не говорящему высказыванию: "Человек хочет общаться, а для этого ему служит язык". Это без сомнения так. В том самом тривиальном смысле, согласно которому функция чистящего порошка — чистить, функция коммуникативного средства — общаться.

Функция вещи, как я отмечал выше, состоит в ее вкладе в функционирование вышестоящей системы; не в ее вкладе в собственное функционирование. И все-таки это означает, что мы должны искать ответ на вопрос, для чего служит людям общение. Я только что предложил считать, что общение (как особая форма воздействия) служит для достижения социального успеха.

К понятию социального успеха мы еще вернемся в дальнейшей главе. Однако уже сейчас я попытаюсь исключить некоторые возможные недоразумения. В нашем современном обществе упоминание о социальном успехе означает почти то же самое, что и упоминание о том, что кто-то "чего-то достиг": купил вторую машину, дом с несколькими подъездами или голливудскую качель. Я не так понимаю "социальный успех". Под социальным успехом я хотел бы понимать все то, к чему мы стремимся в нашей совместной общественной жизни. Важное и неважное, долгосрочное и преходящее. Сюда относятся такие цели, как влияние, склонность, продукты питания, желание быть понятым, быть читаемым, власть, партнерство, внимание,

стремление быть признанным и тому подобное. Я не хотел бы исключать видимую, символизирующую социальный статус часть, о которой прежде всего думают при “социальной успешности”, но она представляет собой только одну из многих форм социального успеха. Социальный успех нельзя определить материально, так же как биологическую пригодность. Пригодность тли определяют иные качества, чем пригодность каракатицы. Социальный успех — это символ всего, к чему мы стремимся в своих социальных действиях, из которых определенную часть составляют действия коммуникативные. В группе панков признаются иные условия социального успеха, чем в монашеском ордене молчания. (Ср. гл. 4.5.).

Вопрос о функции элементов системы в корне отличается от вопроса о функции самой системы. Функция часов в жизни человека отличается от функции стрелок в механизме часов. К тому же, не все в часах должно иметь функцию и не каждая функция части в механизме часов должна быть непосредственно связана с функцией, которую выполняют часы для человека. В некоторых часах содержатся устройства, предотвращающие починку в случае поломки.

По вопросу о том, какие элементы языка функциональны в коммуникативном смысле, мнения расходятся. Хомский и его сторонники представляют, например, тезис об автономности синтаксиса, согласно которому в каждом языке есть автономная область синтаксиса, которую нельзя объяснить ни семантическими, ни прагматическими функциями, “которая ни в коем случае не может быть редуцирована до не-синтаксических закономерностей”[165]. Если бы здесь речь шла об универсальной грамматике, то есть о

[165] Fanselow, Felix 1987, с. 93.

той части нашей языковой способности, которая является общей для всех языков и которой мы обладаем благодаря нашему биологическому строению, то эта область нас не интересовала бы, так как все, что объединяет языки, объединяет и языковые стадии, следовательно, застраховано от исторических изменений. Эта область будет изменяться только в те периоды времени, в которые изменяется наше биологическое строение, а они значительно перекрывают рамки исторического рассмотрения языка.

У языковых единиц может быть много различных функций, а отдельная языковая единица может обладать сразу несколькими. Определенное произношение выражения, во-первых, служит его фонетической реализации, а во-вторых, может сигнализировать о происхождении и социальном слое. Язык для нас — это не только средство простого понимания, но и средство самовыражения в широчайшем (и ни в коем случае только в негативном) смысле. Поэтому мы склонны так быстро и непосредственно оценивать способы, которыми пользуется человек для выражения своих мыслей. Когда я слышу, как один из бывших ведущих политиков говорит по телевизору: “Мы должны нáчать преобразования”, то я не констатирую предметно, что он неправильно делает ударение в слове “начать”, а сразу ассоциирую это с его “качествами характера”*. Признаки языкового поведения интерпретируются, как правило, в связи с личностями. Язык человека является и считается частью его личности. Словами можно льстить, импонировать, ранить, хвалить, оскорблять, вербовать, приспосабливаться, выделяться и, не в последнюю оче-

* Р. Келлер приводит здесь пример со швабским политиком, который говорит по телевизору: “Das Läben muß wieder läbenswert werden”. — *Прим. перев.*

редь, понимать друг друга. Некоторое из перечисленного можно делать одновременно, так как коммуникация — это игра со смешанными мотивами, игра, одновременно преследующая множество целей, из которых все находятся на службе воздействия.

Итак, в каком смысле является функционалистким объяснение изменения языковой единицы с помощью невидимой руки? Оно показывает, какая специальная функция вызвала изменение. Рассмотрим еще раз пейоризацию в обозначении женщин. Наше объяснение[166] показывает, что мы употребляем слово “Frau” не только для того, чтобы обозначать женщин, но и чтобы вести вежливую игру, и не для того, чтобы быть вежливыми и почтительными вообще, но чтобы быть галантными в придворно-общественном смысле. И именно эта функция вызывает пейоризацию.

Это означает, что существуют в известном смысле саморазрушительные функции употребления. К их разряду относится, например, все, что имеет дело с необычностью. Вежливость — игра, в которой необычность является козырем. Но когда многие делают одинаковый выбор необычного, необычность становится нормой и тем самым теряет способность выполнять свою функцию. Конечно, это только одна причина, побуждающая говорящих на определенном языке ощущать необходимость в модификации выражений, которые они предпочитают. О других случаях мы еще поговорим.

Единственное, что для меня здесь важно, — следующее: знать, почему изменяется языковое явление, означает знать, для чего оно применяется, знать его функцию в коммуникативной игре, обусловливающую модификацию

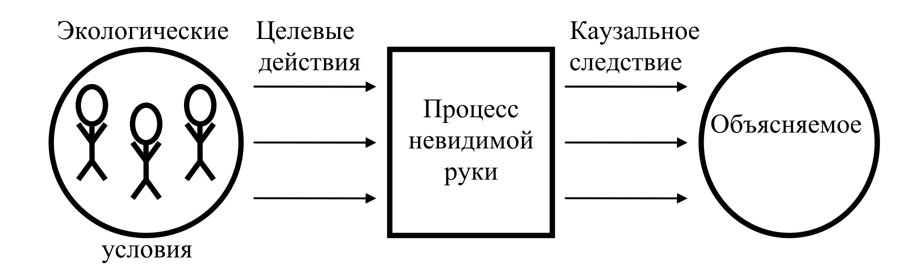
[166] Ср. гл. 4.2.

при выборе средства выражения. Поскольку объяснение языкового явления с помощью невидимой руки всегда начинается с мотивов говорящих, а само явление "высчитывает" эффект, возникающий в результате сделанного выбора, как макроструктурный, это объяснение непременно является функциональным, но в "исковерканном" смысле. Против функционалистких объяснений языковых изменений выдвигается тезис, что они не являются целью. Так, Роджер Лэсс пишет: "Изменение не включает в себя поставленную человеком цель (не осознается)"[167] и (среди прочего) по этой причине считает невозможными функционалисткие объяснения. Верно, что изменение, то есть новое состояние после изменения, не ставится целью, а зачастую является даже "нежелательным"; "вообще слово 'намерение' в применении к языку следует понимать с осторожностью"[168]. И все-таки, "включает в себя" всегда "осознает человеческую цель". Можно сказать так: объясняемое есть нефункциональный эффект функциональных действий. Если ясна суть объяснения с помощью невидимой руки, то остается только решить терминологически, называть его функционалистким или нет. В общем и целом, средства нашего языка целесообразны, но это проистекает не оттого, что мы, говорящие, только и делаем, что создаем целесообразные средства, а оттого, что мы отказываемся от менее целесообразных средств в пользу тех, которые кажутся нам более целесообразными. Этот процесс выбора, или фильтрования, создает телеономию без финальности, целесообразность, которая не проектируется.

[167] Lass 1980, с. 82.
[168] Humboldt 1836/1907, с. 127.

4.4. Правила языковой деятельности

Проясним еще раз структуру объяснения с помощью невидимой руки на схеме:



По этой схеме можно прочитать, какие факторы играют роль, если хочешь объяснить изменение языкового явления или его состояние. В полном объяснении они все должны учитываться. Слева от прямоугольника находится микроуровень, справа от него — макроуровень. Микроуровень — это уровень действий участвующих в них индивидуумов вместе с соответствующими условиями, в которых они действуют. Макроуровень — это уровень языка в гипостазирующем смысле. Сам прямоугольник символизирует накопительный процесс, который образует мостик от микро- к макроуровню.

Начать объяснение я хотел бы с левой стороны схемы.

Когда много людей совершают любые несогласованные действия, не имеющие между собой ничего общего, то можно предположить, что не будет ничего интересного; во всяком случае, не будет процесса невидимой руки. Процессы невидимой руки возникают там, где много людей

поступает во многих аспектах аналогично; или, другими словами, где действия многих обнаруживают хотя бы в одном аспекте **значительное сходство**. Тысячи людей могут идти из пункта А в пункт В с десятками тысяч намерений. Они проложат тропу, которой не было раньше, только в том случае, если их действия будут схожими хотя бы в одном аспекте: они должны по возможности экономить энергию. Из всех причин, мотивов и намерений их деятельности для объяснения важно только одно — стратегия наикратчайшего пути.

Если действия обнаруживают схожесть, это является необходимым условием для возникновения процессов "невидимой руки". Однако это условие не является достаточным, так как сходство может быть и незначительным, таким, которое не оставит "следов".

Аспект значительности сходства можно (по примеру Грайса[169]) обобщить в форме правил. Я называю их правилами деятельности.

Одно из правил представляет собой тенденцию деятельности, ее осознанную или неосознанную стратегию. Обычно она формулируется в побудительном предложении. Побудительное предложение должно быть выбрано так, чтобы **казалось, что соответствующий способ действия является следованием побуждению.**

"Иди из пункта А в пункт В так, чтобы выбранный путь был наикратчайшим из возможных".

Это возможная формулировка одного правила, которая могла бы сыграть роль в объяснении того, как была проложена тропа через газон. Способ формулировки таких правил деятельности ничего не говорит о том, на чем на са-

---

[169] Grice 1975/1979

мом деле основана похожесть соответствующих действий. Тенденцией двигаться из пункта А в пункт В с минимальными затратами энергии мы можем быть обязаны нашему биологическому устройству, рациональным размышлениям, либо эта тенденция может представлять собой приобретенный способ поведения.

На нашей схеме три стрелки, направленные на прямоугольник, символизируют важные действия, входящие в одно или несколько таких правил деятельности.

Я хотел бы отметить две неточности, скрытые в том, что было сказано до сих пор.

Первая. Само собой разумеется, не *все* члены какой-то группы должны способствовать возникновению феномена, который нужно объяснить. Насколько велико должно быть участие “активных” или каково оно на самом деле, зависит от многих факторов. Например, от вида самого объясняемого феномена, но также и от того, что я назвал на схеме “экологическими условиями”.

Вторая. Не все, кто способствует возникновению феномена, должны действовать, соблюдая *одинаковые* правила. Они могли бы действовать, соблюдая эквивалентные правила.

Экология деятельности — это сумма факторов, влияющих на выбор действия. Действия имеют место не в “безвоздушном пространстве”. Действующее лицо всегда подвержено множеству условий и факторов, которые отчасти имеют ограничительную природу, отчасти же открывают возможности для действия. Пианино открывает пианисту возможность играть на нем и одновременно ограничивает его тем, как оно устроено.

Говорящий на любом языке в каждой ситуации общения видит условия, ограничивающие его действия, и условия, открывающие ему возможности. Эти условия влияют,

с одной стороны, на выбор средств при заданных целях действий, а с другой стороны — на цели действий при заданных возможностях. Общаясь, мы производим аранжировку.

Экологические факторы, влияющие на выбор языковых средств говорящего, сами имеют отчасти языковую, отчасти внеязыковую природу. Внутриязыковые факторы касаются индивидуальной компетенции говорящего и одновременно его восприятия индивидуальной компетенции соответствующего коммуникативного партнера. Действительная компетенция слушателя не относится к факторам, влияющим на деятельность говорящего, так как она ему недоступна. Мои гипотезы о твоей компетенции являются частью *моей* компетенции! К внеязыковым факторам относятся, например, социальные данности, данности материального мира, а также, возможно, и биологические данности. Разграничение внутри- и внеязыковых факторов нельзя выдержать строго, поскольку социальные и биологические факторы отчасти оказывают непосредственное влияние на языковую компетенцию.

Все эти экологические факторы традиционно назывались “причинами языковых изменений”; при этом различали внутри- и внеязыковые “причины”. Наша схема показывает настоящую значимость этих так называемых причин.

В главе 1.3. я кратко дал понять, что языковые изменения могут быть запланированными, не являясь, однако, интенциональными феноменами. Наконец, можно объяснить причину этого. Феномен третьего вида может быть запланирован именно *как* феномен третьего вида. Иногда можно спланировать определенный вид процесса “невидимой руки”. Мы знаем это по планированию народного хозяйства: кто хочет, чтобы процветало строительство, может поддерживать кредитование этой отрасли. Те же,

кто вслед за этим начинает строить, делают это не для того, чтобы оживить строительную индустрию; то есть оживление строительной индустрии — это не интенциональный феномен. Те же, кто поддержал кредиты, сделали это, однако, с целью создания таких экологических условий, чтобы следствием деятельности людей, было оживление строительной индустрии. Примером такой "рыночной" языковой политики мог бы стать такой факт. Если гомосексуалисты, как это можно было наблюдать в Федеративной республике, станут называть самих себя "гомиками" ("Schwule"), то их языковая политика будет преследовать цель лишить слово *гомик (schwul)* его дискриминирующей функции. Они лишают "других" ругательного слова. Те, кто отныне не употребляет (не может употреблять) это слово как ругательство, не ставят своей целью неупотреблением изменить его значение, но фактически они вызывают это изменение, поскольку слово, о котором известно, что оно употребляется соответствующей группой для самохарактеристики, больше не годится для того, чтобы его применяли в целях дискриминации.

Сознательная языковая политика, или планирование языка "сверху", тоже не могут вывести из строя механизм невидимой руки. Они представляют собой только один — возможно, очень действенный — фактор экологии деятельности говорящих. Нет ничего, что прямо воздействовало бы на язык, на это не способно ни структурное свойство, ни власть или "сила". Каждый языковой процесс проходит долгий путь через деятельность индивидуумов, и объяснять его нужно через этот путь. "Никакая движущая сила, приходящая извне, — пишет Косериу, — не может

воздействовать ‘на язык’, не проходя через ум и свободу говорящих”[170].

Правило деятельности — это функция, которая проецирует множество экологических условий на пространство деятельности. При данных условиях оно и определяет выбор возможных действий. Правила деятельности — это функция выбора действий.

Рассмотрим еще раз пример исчезновения слова *englisch* в смысле *engelhaft* (ангельский) в середине XIX века. *Englisch*$_1$ употребляется в значении *‘ангельский’*, *englisch*$_2$ — в значении *‘британский’*. Я попытаюсь объяснить это исчезновение, переходя от одной части нашей схемы к другой.

I. **Экологические условия**, действию которых был подвержен говорящий в ту эпоху:

а) То, что имеет смысл называть *englisch*$_1$, составляет маленькую часть того, что имеет смысл называть *englisch*$_2$.

б) *Englisch*$_1$ и *englisch*$_2$ были омонимами.

в) В середине XIX века “ангелоподобие” воплощало своего рода идеальный образ женщины, что повышало число поводов для употребления *englisch*$_1$.

г) В то же время Англия, а также английская продукция под влиянием индустриализации и возникшего на этой почве соперничества с Германией сильнее, чем раньше, попадала в поле зрения немецкой общественности, что повышало количество поводов для употребления *englisch*$_2$.

д) (в) и (г) вместе возбуждали конфликтный потенциал омонимии, практически не имевший значения до того времени.

е) *Englisch*$_1$ рассматривался как производное от существительного *Engel (ангел)*, словообразовательные воз-

---

[170] Coseriu 1958/1974, с. 169

можности которого допускают другие, почти синонимичные, но не омонимичные альтернативные производные.

ж) (е) не распространяется на *englisch*$_2$.

з) Кто хотел избежать непонимания на основании пунктов от (б) до (д), тот имел возможность на основании пунктов (е) и (ж) избегать в пользу альтернативных выражений употребления *englisch*$_1$, но *не englisch*$_2$.

и) На основании пункта (а) шансы быть непонятым были больше для *englisch*$_1$, чем для *englisch*$_2$.

II. **Правила деятельности,** которые в условиях, обозначенных в пунктах от (а) до (и), привели к исчезновению из нашего языка *englisch*$_1$, могут быть сформулированы так.

$П_1$: Говори так, чтобы по возможности не быть непонятым.

$П_2$: Говори так, чтобы тебя понимали.

$П_1$ и $П_2$ не эквивалентны, так как непонимание не является контрадикторной противоположностью понимания. Как мы увидим далее, $П_1$ и $П_2$ вносят различный вклад в процесс невидимой руки.

III. **Процесс невидимой руки**, который приводится в действие неупотреблением *englisch*$_1$, имеет относительно простую природу. Употребление слова, ставшего редким, ведет к тому, что, с одной стороны, те, кто знал, забывают его, а, с другой стороны, многие говорящие из подрастающего поколения больше не учат его. Так возникает положительный усиливающий эффект. Чем меньше людей имеют это слово в своем (активном) словаре, тем меньше людей могут его применять, так что к неупотреблению добавляется еще неспособность применения. Но тем самым изменяются экологические условия для тех, кто еще владеет этим словом. С этого момента они будут избегать применения слова *english*$_1$ и в тех случаях, когда совершенно отсутствует риск быть н е п о н я т ы м , поскольку,

ввиду ограниченной частотности и ограниченного применения, ограничен и шанс быть п о н я т ы м .

IV. **Объясняемое** является каузальным следствием этого процесса. Слово *englisch₁* исчезло из немецкого языка. “Законы”, влекущие за собой это следствие, имеют элементарную природу.

$З_1$: Редко употребляемые слова редко выучиваются.

$З_2$: Если слушающий не знает значения слова, то он поймет не все, что имеет в виду говорящий, применяя это слово.

4.5. Статика и динамика языка

Чтобы сказать о ч е м - т о , что о н о изменилось, нужно, чтобы что-то в нем осталось неизменным, иначе нельзя доказать идентичность того, о чем утверждается, что оно изменилось. “У меня в с е т о т ж е с а м ы й веник, что и десять лет назад; только однажды я поменял палку, а один раз привязал внизу новую щетку.” Это высказывание не такое уж абсурдное; хотя теперешнее состояние этого веника имеет с его прежним состоянием не больше общего, чем два различных веника имеют общего между собой. Если бы я одновременно заменил палку и щетку на другую палку и другую щетку, это был бы уже не “тот же самый” веник, даже в том случае, если бы обе части были бы идентичны с теми, которые постепенно заменялись. Это кое-что говорит о наших критериях идентичности в диахронии. Чтобы вообще имело смысл говорить об изменениях, должна присутствовать стабильность.

Людтке метко называет этот вид диахронической идентичности “непрерывностью эстафеты”[171].

Статика и динамика создаются различными типами правил деятельности. Некоторые виды правил создают однородность при разнородном исходном положении и статичность при однородном исходном положении. Это достигается прежде всего правилом “Говори так, чтобы тебя понимали.”

Общаться означает (среди прочего) желание быть понятым. Если желание быть понятым приводит к статике и однородности, то как вообще дело доходит до феномена изменения?

“Если язык — системный организм (...), а его целью является понимание со стороны общества, которое на нем разговаривает, то от него как от системы, которая соответствующим образом выполняет свои функции, следовало бы ожидать стабильности. Тем не менее имеет место противоположная картина: система изменяется”[172]. Я считаю это следствие совершенно верным (в противоположность Косериу (1958/1979), у которого я нашел эту цитату). Ошибка заключается, на мой взгляд, в одной из обеих предпосылок, а именно в том, что “его целью является понимание”. У языка много целей, и если выделять какую-то, то это будет воздействие, которому служит “понимание” (ср. гл. 4.3.). Роджер Лэсс пишет: “Если язык нечто намного большее, чем коммуникативная система, и включает элементы игры, тогда его изменение, вероятно, может происходить по причинам, совершенно не связанным с коммуникативной ‘функцией’”[173].

[171] Lüdtke 1980, c.4.

[172] Alarcos Llorach 1968, c. 117 (перевод автора).

[173] Lass 1980, c. 136.

В обиходном языке "общение" часто приравнивается к "разговору друг с другом". Нельзя назвать это выражение удачным, так как в этой связи стираются важные для нас вещи. В более строгом смысле, а именно в том, который придает ему Грайс, общаться означает "что-то говорить и при этом что-то иметь в виду". Что я сообщаю, — это, следовательно, в точности то, что я имею в виду. А "иметь в виду" означает (по Грайсу) слишком сложным способом (описывать который здесь было бы излишним (ср. гл. 2.1.) нацеливаться на то, чтобы дать другому что-то понять. Другой тогда точно поймет, чтó я имел в виду, если он точно поймет, чтó я намереваюсь дать ему понять. Или, выражаясь по-другому, "понять" означает "познать открытые намерения". Итак, при таком языковом употреблении "сообщить" — значит "намереваться что-то открыто дать понять". Либеральные коммуникативные понятия, например такие, из которых следует, что можно и не общаться[174], слишком нейтральны для рассмотрения языка.

Так как мы обычно одним коммуникативным действием пытаемся осуществить сразу несколько намерений, существует несколько ступеней неполного понимания. Если "понять" — значит "разгадать в с е (открытые) намерения говорящего", то контрадикторной противоположностью понимания будет "разгадать н е в с е открытые намерения говорящего", то есть "не разгадать некоторых намерений". Следовательно, контрадикторной противоположностью "понимания" будет, "частичное понимание". "Не понять" означает соответственно "не разгадать ни одного намерения". Ошибочное понимание имеет место, когда адресат приписывает говорящему намерения, которых у того не было; когда он, попросту говоря, "понял" что-то

[174] Ср. Watzlawick, Beavin, Jackson; см. также Keller 1977a.

такое, чего говорящий не имел в виду[175]. В соответствии с этим можно одновременно кого-то и понять, и не понять, а именно тогда, когда разгадаешь все открытые намерения говорящего и сверх того еще и припишешь ему такие, каких у него вовсе не было. Поэтому, вероятно, разумнее сказать, что адресат понял говорящего, если он понял все его намерения и не приписал ему никаких других, которых у того не было. Тогда контрадикторной противоположностью "понимания" будет "частичное понимание, или непонимание".

Если мы будем держать перед глазами весь спектр возможностей, которые существуют от "не понимать вообще" через "понимать частично" до "понимать полностью", соединив их с возможностями частичного или полного непонимания, то мы увидим, что это уже очень сложно. Однако дело обстоит еще хуже: не все намерения, которые мы преследуем при общении, мы и сообщаем. Мы как раз не хотим, чтобы некоторые из наших намерений, связанных с коммуникативным актом, были разгаданы. Что касается других намерений, мы хотим, чтобы их разгадали, но не хотим, чтобы разгадали и то, что мы хотим, чтобы они были разгаданы.

Приведу несколько примеров, так как теоретические объяснения того, каковы намерения говорящего, несравнимо сложнее, чем практическое исполнение таких коммуникативных или манипулятивных актов. Последние относятся к стандартному репертуару каждого из нас, какими бы сложными ни были теоретические объяснения.

Когда я говорю женщине: "Вы сегодня очень хорошо выглядите", то я (в нормальном случае) намереваюсь, что-

---

[175] К проблеме непонимания см., например, Dascal 1985, Dobrick 1985.

бы она поняла, что я считаю, что она сегодня очень хорошо выглядит. Возможно, я намереваюсь также, чтобы она разделила мое мнение о том, как она выглядит. Но если я сверх того еще намереваюсь и подольститься к ней, то я как раз не хочу, чтобы она разгадала и это намерение. Это намерение я смогу успешно осуществить только в том случае, если оно останется неразгаданным. Это пример намерения, которое преследуется при общении, не будучи названным.

Рассмотрим более многослойный случай. Когда маленькие дети хотят похвастаться, они делают это в большинстве случаев очень непосредственно: “У моего папы есть мерседес” или “Мой папа зарабатывает много денег”. Когда взрослые хотят импонировать кому-то своим благосостоянием, они должны, чтобы достичь здесь успеха, действовать косвенно; например, так: “Мастерская по ремонту мерседесов здесь очень приличная”, или “У нас так растут налоги, что совершенно не имеет смысла зарабатывать еще где-то”. Если я говорю об этом, я намереваюсь, чтобы адресат понял, что у меня есть мерседес или что у меня высокий доход; но я не хочу, чтобы он понял, что я хочу сообщить ему именно это. Это считалось бы неприличным и именно поэтому свело бы на нет мое намерение понравиться кому-то.

Это значит, что мы должны делать различие между открытыми и скрытыми намерениями, а также между истинным и сообщенным смыслом высказывания. Смысл высказывания составляет масса всех преследуемых им намерений, тогда как сообщаемый смысл высказывания охватывает только их часть, образуемую открытыми намерениями.

Нередко происходит так, что т о намерение, которое является наиболее важным при исполнении высказывания,

как раз и не называется, то есть как раз и не должно быть разгадано.

Следовательно, понимание является не “единственной целью“ языка, а в любом случае одной из многих (хотя и важной). Если бы оно было единственной целью, то скорее следовало бы ожидать, как верно замечает Аларкос Ллорах, застоя, а не изменения. Это я хотел бы теперь обосновать.

Как мы установили, “общаться” — значит (определенным образом) давать понять о своих намерениях, а понимать это означает разгадывать эти намерения. Правило “Говори так, чтобы другой тебя понял” может означать: “Говори так, чтобы другой смог разгадать твои намерения” или “Прояви свои намерения таким образом, чтобы другой смог их разгадать”.

Что я могу сделать, чтобы дать тебе понять о своих намерениях? Я мог бы понадеяться на то, что ты их правильно угадаешь. Но это был бы не самый многообещающий способ. Если я хочу встретить тебя, а ты хочешь встретить меня, но у нас нет возможности условиться о месте встречи, было бы неразумно надеяться на то, что мы встретимся случайно. Если я хотел бы дать тебе понять о своих намерениях, а ты хотел бы их понять, то мы находимся в ситуации, аналогичной той, когда мы хотим встретиться. Случай не исключен, но надежда на него иррациональна.

Проблема, стоящая перед нами, — классическая проблема координации. Проблемы координации могут быть разрешены с надеждой на успех только тогда, “когда существует система согласованных взаимных ожиданий”[176]. Единственно рациональный способ встретить тебя при вышеназванных условиях, имея шанс больше, чем случай-

[176] Lewis 1969/1975, с.24.

ность, состоит в том, чтобы я, надеясь встретить тебя, пошел в то место, куда, как я предполагаю, ты можешь пойти, чтобы встретить меня.

Другими словами:

Я иду туда, куда, как я думаю, пойдешь ты[177] (если хочешь встретить меня). А куда пойдешь ты? Если ты разумен, ты пойдешь туда, куда, ты думаешь, пойду я (если я хочу встретить тебя). В связи с этим у меня должна быть такая стратегия:

“Я пойду туда, куда, я думаю, пошел бы ты, если бы был на моем месте”.

Это стратегия, которую нам следует выбирать, если мы хотим встретиться, не имея возможности договориться.

Вильгельм фон Гумбольдт, кажется, понимал, что такая стратегия (mutatis mutandis) играет в общении центральную роль. Правило: “Никто не имеет права говорить с кем-то способом, отличным от того, как говорили бы при равных обстоятельствах с ним”[178], — он называет “духовной силой”, имеющей “целью общение”.

Это стратегия, согласно которой следует действовать, если хочешь быть понятым. Я хочу назвать ее правилом Гумбольдта. Если бы единственная цель нашей речи состояла в том, чтобы быть понятым, то правило коммуникации было бы следующим: “Говори так, как, по твоему мнению, говорил бы другой, будь он на твоем месте”.

Это правило (слегка модифицированная версия формулировки Гумбольдта), согласно тезису, приводит к однородности при разнородном исходном положении и к статике при однородном исходном положении.

---

[177] Да простят мне разговорный, но более приемлемый для этих целей синтаксис!

[178] Humboldt 1836/1907, с. 47.

Как это возможно? Если бы ты стал говорить со мной, как я, а я с тобой, как ты, то мы бы просто поменялись способами речи. Каким образом должны тогда реализоваться однородность и статика?

Правило Гумбольдта функционирует мягче: откуда я знаю, как бы ты заговорил, будь ты на моем месте? Между прочим, и о вещах, о которых ты со мной говорил. Но при этом ты следовал правилу Гумбольдта. Следовательно, ты, вероятно, так говорил со мной, как, по твоему мнению, говорил бы я, окажись я на твоем месте. Если я попытаюсь говорить с тобой , как стал бы говорить со мной в равных условиях ты, я на самом деле сымитирую, как ты говоришь, когда пытаешься говорить так, как говорю я, если я пытаюсь говорить так, как говоришь ты... Таким образом происходит постоянное приспособление наших компетенций, а когда оно в значительной степени произошло, наступает стабилизация.

Я думаю, что одно из самых фундаментальных правил нашего общения — это стратегия быть понятым. Этой стратегии мы следуем временами даже тогда, когда действовать в соответствии с ней объективно не имеет смысла. Она бессмысленна, например, в ситуациях "учитель — ученик", в которых говорящий должен быть образцом для адресата, чтобы дать ему возможность улучшить его компетенцию. Но благодаря тому, что мы так крепко усвоили правило Гумбольдта, мы склонны говорить с маленькими детьми, как маленькие дети, а с иностранцами — на ломаном немецком. В лингвистике этот феномен известен как "Baby-Talk" или "Foreigner-Talk".

Таким же гомогенизирующим или стабилизирующим является любой вид стратегии приспособления, то есть общение по правилу "Говори так, чтобы признали твою принадлежность к какой-то группе" или "Говори так, чтобы не

выделяться” и т. п. Это варианты простого правила: “Говори, как другие” (при том, что “другие” могут представлять собой и меньшинство).

Юлес Левин[179] с помощью компьютера смоделировал правило “Говори, как другие в твоем окружении”. Он доказал, что такое правило в состоянии вызвать появление ошеломляющих структур. Я хочу, немного сократив, показать это.

Левина занимало то, как смоделировать распределение или распространение вариантов в определенных областях. Существование двух вариантов предполагается как данность. В качестве “области” он выбрал квадратную решетку с длиной сторон, например, 55x55 полей. Каждому полю приписывается определенная значимость, например “черное” или “белое”. Распределение значимостей по всей “области” происходит по случайному принципу. Начальное распределение возникшей таким образом “языковой области” представляет рисунок 2 (с. 190).

И вот была разработана компьютерная программа[180], изображающая определенное взаимодействие обоих вариантов. Каждое поле может удерживать или менять свою значимость в зависимости от того, какую значимость имеют приграничные соседние поля. У каждого поля, не являющегося крайним, 8 соседних полей (считая соседей по диагонали). Программа должна подражать правилу “Говори, как люди вокруг тебя”. У любого поля, скажем у черного, есть определенный шанс остаться черным или стать белым, смотря по тому, сколько из соседних полей являются тоже черными или белыми. Согласно алгоритму Ле-

[179] Levin 1988.

[180] Здесь речь идет о так называемом клеточном автомате, см. об этом Silbar 1987.

вина, следующий шаг может только сохранить значимость полю, окруженному 8 полями с такой же значимостью, тогда как, скажем, белое поле, окруженное 4 белыми и 4 черными полями, получает по этому алгоритму шанс в 51 % случаев остаться белым.

Результат удивителен. Уже после нескольких относительно немногих шагов возникает структура, ошеломляюще похожая на карту изоглосс (см. рис. 7). Рис. 3 показывает результат после 20 шагов. Эта структура после дальнейших шагов еще немного "округляется", однако вскоре стабилизируется (см. рис. 4-6). Структура все еще оставалась стабильной и после 10000 шагов.

Конечно, такая модель далеко отстоит от "реалистической" модели языковых изменений. "Даже мои студенты убедились, что решетка была территорией, площади — деревнями или отдельными говорящими, а два варианта — языковыми вариантами, которые я знал лучше", — пишет Левин[181]. "Я рассматриваю это как только очень примитивную и абстрактную предварительную модель, которая, вероятно, создает иллюзию лингвистического взаимодействия"[182].

И все-таки эта модель содержит импликации для обсуждаемых здесь аспектов теории языковых изменений. Она показывает, что положенное в ее основу правило производит из случайного распределения структуру однородных областей и что если есть однородная структура, она оста-

[181] Levin 1988, с. 4.

[182] Очень похожей моделью Т.С. Шеллинг (1969) в своем сочинении "Модели сегрегации" пытается объяснить образование гетто. Сразу бросается в глаза, что, например, правило съемщика "Съезжай, если ты среди своих соседей относишься к меньшинству" ведет к аналогичному распределению. Ульман-Маргалит (1978) упоминает модель Шеллинга как пример объяснения посредством невидимой руки.

ется стабильной. Кроме того, как верно замечает Левин, эта структура показывает, что “языковые изменения (...) могут (...) быть поняты на большой шкале как вид динамических образцов, исходящих из простых и понятных принципов взаимодействия”[183].

Принципы взаимодействия, то есть правила, которые, подобно рассмотренным, приводят к однородности и статичности, я называю **статическими правилами**. Соответственно правила, приводящие к динамике, я хотел бы назвать **динамическими правилами**.

К ним относятся следующие:

(1) Говори так, чтобы на тебя обратили внимание.

(2) Говори так, чтобы тебя не признавали относящимся к группе.

(3) Говори забавно, остроумно и т.п.

(4) Говори особенно вежливо, льстиво, привлекательно и т.п.

К ним относится и всем известный принцип экономии:

(5) Говори так, чтобы это не стоило тебе ненужных усилий.

Правила с (1) по (4) полезны. Правило (5) касается затрат. Я предполагаю, что существуют по меньшей мере два типа этих правил, но не хочу исключать, что может оказаться целесообразной другая классификация, чем та, которая построена на их макроструктурных эффектах. Как можно видеть по правилу понимания, правило не обязательно должно строго подходить под один из обоих типов. С одной стороны, стремление к пониманию ведет, главным образом, к тому, что наши языки “не распадаются”, а за-

[183] Levin 1988, с. 6 и далее.

нимают бóльшие площади, если расширяются области общения. С другой стороны, это правило приводит к тому, что при особых условиях, как мы видели в случае с *englisch,* слова исчезают из словарного состава языка. Вместе с другими правилами оно обусловливает даже определенный тип непрерывных изменений. Это показал Гельмут Людтке[184]; я подробно остановлюсь на этом в следующей главе.

Обычно мы выбираем языковые средства не только по одному правилу. Говоря, мы пытаемся убить одним ударом сразу несколько мух: приспособиться, выделиться, быть понятым, сэкономить энергию. Что кто-то не хочет ничего другого, кроме как быть понятым, имеет место, вероятно, чрезвычайно редко. Если все-таки такой случай наступает, этот человек должен непременно выбирать ортодоксальные средства, так как каждая инновация подвергает риску понимание. Кто хочет быть понятым, должен действовать в соответствии с ожиданиями другого. Новое же — это неизбежно то, чего ожидают меньше. Если я когда-нибудь стану тонуть, я громко и отчетливо выкрикну слова “На помощь!” Я не буду пытаться что-то изобретать или экономить энергию артикуляции.

Некоторые правила конфликтуют друг с другом, противоречат друг другу. Если мы тем не менее захотим действовать, следуя сразу двум из них, мы должны будем пойти на компромиссы. И это не исключение, а скорее правило. Выделиться, имея желание быть тем не менее понятым, — вот типичный конфликт. Это балансирование между приспособлением и отграничением, между орто-

[184] Lüdtke 1980.

доксией и инновацией[185]. В этой ситуации находится, как правило, составитель рекламных текстов. В большинстве случаев он должен обращаться к незаинтересованным адресатам и говорить о таких скучных вещах, как зубная паста, мука или стиральный порошок таким образом, чтобы шуткой и изобретательностью привлечь внимание и вместе с тем быть понятым без усилий.

Эволюционных процессов изменений следует прежде всего ожидать там, где индивидуумы поставлены в условия ограниченности[186]. Ведь ограниченность обозначает усиленный отбор. В области живой природы процессы отбора возникают прежде всего из-за нехватки пространства, энергии (солнечного света, питания и т.п.), времени и половых партнеров. Небольшие различия индивидуумов в соперничестве за более ограниченные из желанных средств либо благоприятствуют овладению ими, либо тормозят этот процесс. Соперники, более наделенные благоприятствующими качествами, с большей вероятностью будут иметь относительно более высокую квоту воспроизводства, чем менее наделенные такими качествами, так что благоприятствующие качества, наследуемые в следующем поколении, будут представлены в соответствующей популяции в более высокой степени, что — при условии неизменности окружающей среды — будет благоприятствовать и потомкам. Вероятность воспроизводства типа индивидуумов в определенной окружающей среде можно назвать английским словом fitness (производительность — О.К.). Следовательно, когда варьирование изменяет производительность, возникает эволюция.

---

[185] К вопросу об оригинальности как возможном правиле см. Lüdtke 1986.

[186] Ср. Radnitzky 1983, с. 84.

Отданы ли мы в той части жизни, которую мы одолеваем с помощью нашего языка, аналогичным образом на откуп ограниченности? Да, и все же с одним значительным различием. Ограниченность, с которой мы сталкиваемся как партнеры по коммуникации, оказывает не только отборочное воздействие; сверх того она повышает степень вариативности, поскольку вариативность в области культуры не предоставлена, как в природе, на милость случая. Она возникает большей частью благодаря творческой способности человека, предвосхищающего отбор. А нужда, как известно, делает изобретательным.

Как коммуниканты, мы должны рассчитывать на ограниченность внимательных слушателей или читателей, на ограниченность возможностей публикации (в широком смысле), на ограниченность времени и энергии со стороны говорящего, на ограниченность внимания, склонности и терпения со стороны адресата, на ограниченность социального престижа, ограниченность круга друзей и подруг, вплоть до ограниченности клиентов, покупателей, избирателей, почитателей и т.п.

Частью нашей языковой и коммуникативной компетенции являются присущие всем нам более или менее хорошие стратегии, с помощью которых мы пытаемся наладить наше коммуникативное предпринимательство. Действовать — значит постоянно пытаться превратить относительно менее желаемое состояние в относительно более желаемое. Само собой разумеется, это применимо и для коммуникативных действий. Следовательно, сверхправилом нашей коммуникации является “Говори так, чтобы быть социально успешным”.

Что считать социально успешным — зависит от случая, от ситуации, от индивидуума, от группы, от адресата. Это сверхправило следует понимать в тривиальном смыс-

ле. Оно не должно подразумевать никаких импликаций материальных признаков социального успеха (ср. гл. 4.3). Оно понимается как сокращение для (тоже тривиального) правила

“Говори так, чтобы быстрее всего достичь целей, которые ты преследуешь своим коммуникативным действием”.

Коммуникативными целями могут быть: обмануть кого-то, утешить ребенка, быть читаемым, убедить в чем-то, продать машину, прослыть умным, рассмешить кого-то, познакомиться с женщиной, прослыть молчуном, быть кому-то несимпатичным и т.д. ; как правило, одна из частных целей — это быть понятым.

Здесь представляется гипотеза, что это сверхправило может быть расчленено на подправила, которые в свою очередь могут быть подразделены на два класса: стабильных и динамических правил. Вероятно, особая роль отводится правилу экономии “Говори так, чтобы затратить энергии не больше, чем того требует достижение твоей цели”. Вне всякого сомнения, это динамическое правило. И все-таки оно касается в первую очередь не достижения намеченной цели, а “затрат”, так что наше сверхправило, возможно, следовало бы модифицировать в

“Говори так, чтобы при наименьших затратах быть социально успешным”.

Так называемый принцип экономии является доказательством гипотезы о том, что ограниченность порождает изменения. Этот принцип в формулировке Андре Мартине[187] состоит в том, что “каждый язык с течением времени [изменяется] прежде всего для того, чтобы самым экономичным образом удовлетворять потребности сообщения в говорящем на нем обществе”. Очевидно, что в ос-

[187] Martinet 1960/1971, с. 17.

нове этой мысли лежит корректное, однако неоправданно обобщавшееся ранее предположение о том, что говорящие имеют обыкновение общаться в условиях ограниченности времени или энергии.

Правило экономии артикуляционной энергии находится в “диахроническом конфликте” особого рода с правилом “говорить так, чтобы быть понятым”. Гельмут Людтке исследовал его и изложил его ненамеренные последствия. В следующей главе я хотел бы представить и обосновать онтологически эту теорию феномена невидимой руки.

Количество повторов: 0

Рис. 2

Количество повторов: 20

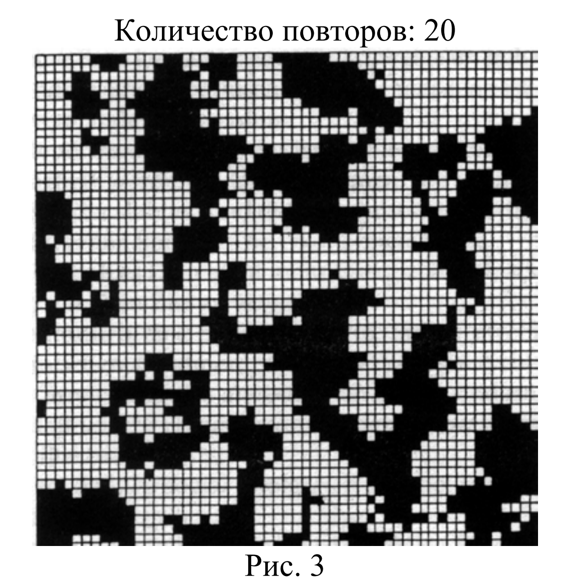


Рис. 3

Количество повторов: 80

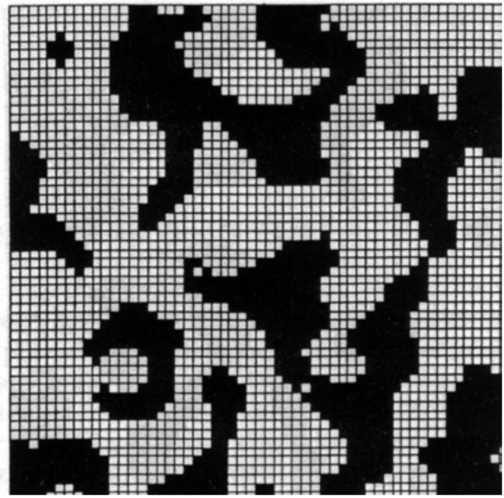


Рис. 4

Количество повторов: 500

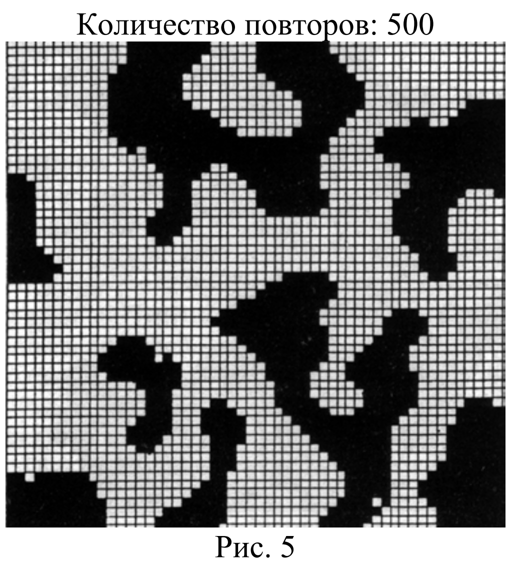


Рис. 5

Количество повторов: 1000

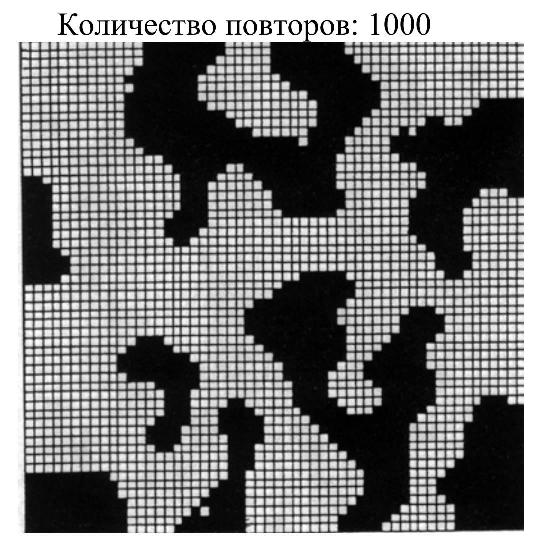
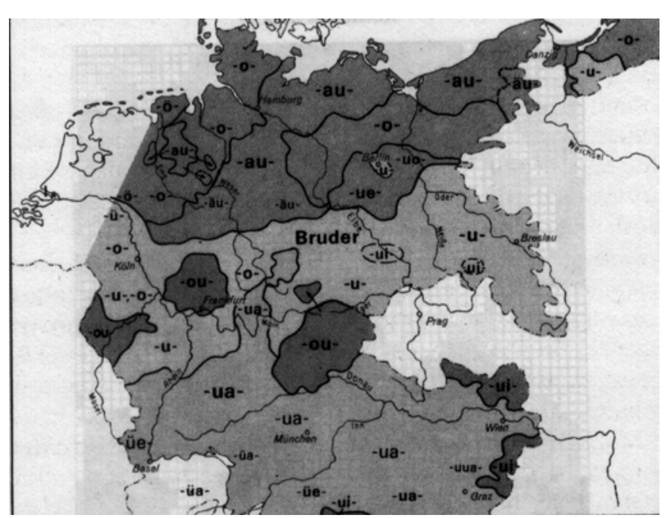


Рис. 6



География гласного звука *u* в слове Br-*u*-der в бывших немецкоязычных областях

Рис. 7

5. Дискуссия

5.1. Закон языковых изменений Людтке

Теория Людтке, совершенно в духе представляемой здесь теоретико-познавательной концепции, обязана своим возникновением методологии индивидуализма. Его объяснения — это объяснения снизу. Он понимает язык не как вещь, данный заранее инвентарь, систему знаков и тому подобное, а как “определенный способ” людей общаться друг с другом. Средства, которые мы используем для общения, не предшествуют применению логически, а являются результатом коммуникативных действий. Языковые изменения, затрагиваемые его теорией, “возникают как ненамеренные, неосознанные продукты языковой деятельности из соединения свободы принятия решения и стремления к оптимизации”[188]. Это означает следующее.

Чтобы можно было понять наши коммуникативные акты, они должны быть в достаточной мере структурированы в звуковом плане; Людтке говорит о **“сигнальной негэнтропии”** (мере организованности сигнала — О.К.). Недостаточная звуковая организованность создает опасность для интерпретации адресатом. Поясню это на примере.

Когда я вечером прихожу в кафе, я говорю [драс]. Этот шум вне данного ситуативного контекста содержал бы слишком мало сигнальной негэнтропии, чтобы иметь достаточно шансов для корректной (то есть нужной мне) ин-

[188] Lüdtke 1980, с. 10.

терпретации. Если бы я (скажем, в другой ситуации) опасался, что меня не поймут правильно, я имел бы возможность снабдить свой “шум” более отчетливой звуковой структурой. Она могла бы нарастать, к примеру, от [здрас] через [здрасте] до полной формы [здравствуйте]*. Нельзя артикулировать отчетливее, чем отчетливо. Существует верхняя граница, а именно полная форма. Аналогичной нижней границы не существует. [драс] уже очень сокращено, но при определенных условиях хватит и [дра:].

Итак, мы (в общем) говорим по правилу “Говори так, чтобы затрачивать не больше артикуляционной энергии, чем требуется”.

Что значит “требуется”? Что требуется, определяется отчасти и социальными факторами. Но мы оставим их здесь без внимания. Рассмотрим факторы чистого переноса. Требуется ровно столько артикуляционной энергии, чтобы вынудить адресата к корректной идентификации. Однако пытаться достичь именно этой степени точности было бы рискованной стратегией; так как даже крошечная нехватка сигнальной негэнтропии означала бы крах коммуникативного действия. Поэтому в общении мы работаем с **запасом,** то есть с избытком сигнальной негэнтропии, превышающим структурированность сигнала, достаточную для корректной идентификации.

Однако избыток не должен быть и слишком большим. Слишком малый избыток подвергает риску понимание, слишком большой избыток подвергает риску внимание, поэтому стратегия состоит не в том, чтобы говорить как можно экономнее, а в том, чтобы говорить наиболее эко-

* Руди Келлер приводит другой пример нарастания звуковой структуры: от [na:mt] через [gna:mt] и [guna:mt] до [guten abent]. — *Прим. перев.*

номно **и** насколько необходимо избыточно. При этом перед говорящим возникает проблема управления. Он должен дозировать многословность своей речи в зависимости от оценки интерпретативного успеха адресата. Людтке называет это **“управлением избыточностью”**.

И все-таки, как мы видели, артикуляционные возможности ограничены **сверху**. Нельзя говорить отчетливее, чем отчетливо. Если хочешь повысить избыточность, выходя за акустические возможности, нужно пользоваться лексическими средствами. Если я думаю, что мое [здраствуйте] из-за высокого уровня шума, возможно, не достигнет желаемого результата, я мог бы, к примеру, сказать “Хотел бы поприветствовать Вас: Здравствуйте!” Верхних лексико-синтаксических границ не существует. Нет наивысшей многословности. Но есть лексико-синтаксический минимум. (Его можно нарушать только в телеграммах и военных приказах).

Таким образом, управление избыточностью ограничено с двух сторон и с двух сторон открыто. Существует нижняя граница лексико-синтаксической оформленности и верхняя граница артикуляционной эксплицитности, тогда как верхней границы многословия и нижней границы артикуляционной небрежности в принципе не существует.

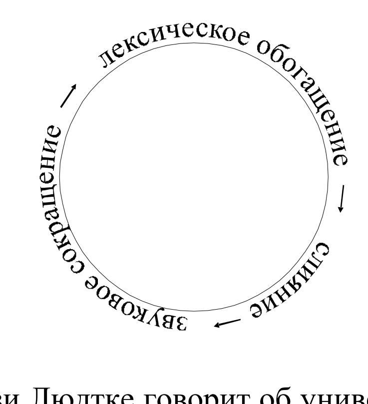
Это обусловливает определенное направление лексико-синтаксических изменений: языковые единицы могут становиться все короче на основе ограниченности артикуляции сверху и ее открытости снизу. В просторечье говорят, что слова стираются. На основе правила экономии артикуляционной энергии формы, которые раньше были “небрежными” сокращениями полных артикуляционных форм, постепенно становятся нормальными, то есть новыми полными формами, которые затем подвергаются аналогичному процессу “стирания”. Из *hiu tagu* (“этим днем”)

через древневерхненемецкое *hiutu* и средневерхненемецкое *hiute* возникло наше сегодняшнее *heute* (“сегодня”), которое, как можно предположить, будет сокращено до “поздненововерхненемецкого” *heut.*

Если экстраполировать эту тенденцию, придем к результату, что все лексические единицы когда-то достигнут минимальной звуковой формы. Но на самом деле это не так. И это зависит от того, что Людтке называет **“принципом количественной компенсации”**. Когда полная форма лексической единицы становится настолько мала, что даже при эксплицитной артикуляции не удовлетворяет потребностей говорящего в избыточности, он обогащает ее лексическими средствами. Звуковые потери компенсируются лексико-синтаксически. Кому *heute* представляется слишком малой формой, тот может употребить *am heutigen Tag.* А если *heute* редуцируется до *heut* или еще более краткой формы, возможно, что *am heutigen Tag* будет все более частотным выражением и станет, наконец, нормальной формой. То, что я обрисовал для немецкого языка как видение будущего, во французском уже стало реальностью. Из латинского *hoc die* (“в этот день”) в старофранцузском стало *hui*, которое в новофранцузском было лексически дополнено до *aujourd’hui* (сегодня — О.К.), что в этимологическом переводе означает не что иное как “в день в этот день”.

Если мы экстраполируем этот принцип звукового сокращения и лексической компенсации, то придем к результату, что когда-нибудь у нас будут вместо лексических е д и н и ц только прерывистые последовательности минимальных звуковых форм. Но фактически ведь этого нет. **“Принцип слияния”** Людтке объясняет, почему этого не происходит. Языковые единицы, которые очень часто встречаются вместе и стоят по соседству, воспринимаются

говорящим-слушающим (прежде всего это свойственно именно слушающему) не как сегментированные, а как одна целая единица, потому что быть единицей означает не что иное, как быть высокочастотной передвижной декорацией нашей речи. Усредненный французский говорящий не рассматривает больше *aujourd'hui* как предложную фразу *au jour d'hui* (это, к примеру, можно узнать по тому, что "на сегодняшний день" по-французски звучит, как *au jour d'aujourd'hui*). Когда же, благодаря принципу слияния, из бывшей "морфологической цепочки соседствующих единиц"[189] выйдет новая единица, игра начинается снова. Так возникает бесконечный, направленный, необратимый кругооборот, создаваемый принципом экономии энергии, принципом лексической компенсации с целью подстраховки понимания и принципом слияния:



В этой связи Людтке говорит об универсальном законе языковых изменений. В результате возникают два вопроса, касающиеся онтологического статуса того, что представил Людтке:

[189] Lüdtke 1980, c. 15.

(1) Идет ли речь об универсальном феномене?
(2) Идет ли речь о закономерном процессе?

Оба вопроса не эквивалентны друг другу. Хотя положительный ответ на (2) имплицирует положительный ответ на (1), из универсальности феномена культурной области еще не следует, что речь идет о закономерности. Это означает, если мы вынуждены ответить на второй вопрос "нет", первый оказывается эмпирическим вопросом, на который мы не можем ответить. Хотя Людтке и иллюстрирует представленный им процесс множеством различных языков, перед лицом гипотезы универсальности каждый следующий пример, естественно, подливает масла в огонь. С другой стороны, я не могу привести и доказательства неуниверсальности: из него неизбежно последовала бы неуниверсальность процесса, поэтому я хочу пока оставить в покое первый вопрос и обратиться ко второму.

Я думаю, что будет ошибкой называть процесс, который наблюдал и объяснил Людтке, закономерным; и не потому, что в истории языка, как утверждает Роджер Лэсс (а с ним и до него и другие), "не существует законов релевантного типа" или "смелость их поиска обречена на провал"[190], а потому, что входные данные процесса всегда содержат действия. Действия не происходят закономерно, но имеют закономерные следствия. На мой взгляд, Людтке показал, как циклически включаются друг за другом три феномена невидимой руки, таким образом, что выход каждого предшествующего процесса (где бы мы ни начинали) представляет собой решающее экологическое условие, которое приводит в движение следующий процесс. В своей новой работе "Очерки теории языковых изменений"

[190] Lass 1980, c. 3.

Людтке тоже называет описанный процесс “процессом невидимой руки”[191]. Однако предпосылкой того, что каждый следующий процесс начнется, всегда будет то, что люди и дальше будут действовать по правилам, существование которых предполагает Людтке. Как бы мы ни были уверены, что они будут это делать, они не будут это делать закономерно. В частной записке Людтке предлагает называть “законы” типа сформулированных им “законами третьего вида” и таким образом отличать их, с одной стороны, от законов природы, а с другой — от планомерно созданных законов, таких, как законы управления. Экономящая энергию артикуляция неизбежно ведет к звуковому сокращению. Однако не обязательно артикулировать, экономя энергию. Если возникнет достаточно большая религиозная община, которая будет рассматривать артикуляционную небрежность как смертный грех, язык этой общины перестанет изменяться в соответствии с процессами, описанными Людтке. Говорят, в Тихом Океане действительно существуют маленькие языковые сообщества, в которых правилами устанавливается определенная мода на произношение[192].

Гельмут Людтке охватил в своей теории то, что Эдуард Сэпир назвал “drift”[193], что в русском переводе означает “медленное течение”, “тенденция”. Сэпир понимал под этим долгосрочное направленное движение языка или языковой семьи. “Движение языка осуществляется таким образом, что говорящие неосознанно предпочитают такие новообразования, что они, взятые вместе, ведут в совер-

[191] Lüdtke 1986, с. 6.

[192] Частное сообщение Людтке в ответ на частное сообщение Стефана Вурма.

[193] Sapir 1921/1961, гл. 7.

шенно определенном направлении”[194], — писал Сэпир, подходя к вещам с другой стороны. Нельзя ведь вразумительно объяснить, откуда у говорящих неосознанная тяга к “drift”. Людтке показал своей теорией, что есть определенные принципы, которые, если их соблюдать, при имеющихся условиях вызывают “drift”. Я понимаю это так, что Людтке наметил тем самым г р а н и ц ы о б ъ я с н е н и я при помощи н е в и д и м о й р у к и , в рамках которых могут быть объяснены отдельные исторические события. Само “drift” не может быть объясняющим аргументом типа “x стало y, потому что превращение x в y соответствует ‘господствующей тенденции’”, так как “drift” есть нечто такое, что само требует объяснения; и Людтке дал его.

Вернемся еще раз к вопросу универсальности и предположим, что Людтке прав, утверждая, что здесь речь идет об универсальном феномене. Какие аргументы можно было бы привести в пользу этого, не считая эмпирического, по-видимому неосуществимого доказательства, что фактически это так и есть?

Для универсальных феноменов в языке характерен аргумент в виде тезиса об их генетической запрограммированности. Но может ли быть врожденной тенденция? Конечно, нет.

Нельзя злоупотреблять аргументом врожденности, на это отчетливо указала Джин Эйчисон[195]. Тезис о том, что нечто является таковым, потому что так оно сотворено Богом, всегда провоцировал слишком быстрый отказ от поисков лучшего объяснения. Языковые универсалии, как пишет Эйчисон, можно грубо разделить на два класса, так

---

[194] Sapir 1921/1961, с. 144 и сл.
[195] Aitchison 1987, с. 16-17.

как у них могут быть две различные причины возникновения. С одной стороны, они могут быть непосредственно врожденными. Так, факт, что мы пользуемся для общения в качестве средства слухо-звуковым путем, является частью генетического оснащения человека. С другой стороны, не хочется допускать, что страх перед львом является непосредственно врожденным, хотя он и может быть универсальным свойством человека. Наш страх перед львом — это, вероятно, часть намного более общей стратегии, решающей проблему (например, такую: "Не вступай в борьбу с кем-то, кто намного сильнее, чем ты".). К примеру, тем, что, кажется, во всех языках есть имена, мы можем быть обязаны тому, что "мир, в котором живут люди, в значительной степени состоит из отдельных объектов. Очевидно, мы должны предположить, что существует некоторый генетический детерминизм, заложивший в людей способность узнавать объекты, но нет нужды требовать языкового планирования, содержащего компонент 'имя'"[196]. Таковы тезисы Эйчисон. Подводя итог, можно сказать, что существуют непосредственно врожденные и опосредованно врожденные универсалии, причем последние из них — это те, которые косвенно вытекают из более общих, не специфически языковых врожденных принципов и стратегий поведения[197].

Возможно, описанная и объясненная Людтке тенденция и является такой опосредованно врожденной универсалией. Принципы, которые Людтке использует для объяснения, действительно имеют элементарную, а не специфически языковую природу:

---

[196] Aitchison 1987, с. 16.
[197] Ср. Bates 1984.

1) принцип экономии: пытайся достичь своих целей действиями с наименьшими затратами (энергии);

2) принцип избыточности: из средств, которые ты применяешь для достижения своих целей, выбирай лучше такие, которые скажут немного больше, чем немного меньше;

3) принцип слияния: интерпретируй как единства множества, (почти) всегда появляющиеся рядом[198].

Элементарная природа этих принципов гарантирует универсальность следования им, предположительно далеко идущую. Тем не менее, они еще не становятся законом, поскольку ничто не вынуждает нас, людей, вести себя в соответствии с врожденной природой. Часть наших культурных правил имеет как раз “задачу” (как мы видели в главе 3.1) переформировать врожденное, управляемое инстинктами поведение.

Такие объяснения с помощью правил, принципов, стратегий (или как бы мы их еще ни называли) в состоянии пролить свет на понятие “тенденции”, бывшее до сих пор несколько мистическим. Как показывает теория Людтке, тенденция в общем-то возникает за счет того, что говорящие каждый раз реагируют на экологические условия, заданные им (и другим) определенным состоянием языка и на связанные с ними проблемы успешного проведения коммуникативных действий по тем же самым правилам. При этом морфологическая тенденция, как ее описал Людтке, в принципе не отличается от семантической, как

[198] Третий принцип касается психологии восприятия. Возможно, при сегментации мира на единства играет роль и принцип экономии, так как, вероятно, экономично располагать ограниченным числом категорий.

она представлена в постоянной пейоризации общественного обозначения женщин.

“Повсеместно кажется вероятным, что историческая лингвистика будет играть главную роль в будущих исследованиях принципов, лежащих в основе языка”[199].

5.2. Теория естественности

“Величайшая революция, которая произошла в современной методологии, по крайней мере в исторической реконструкции, — это то, что можно подвести под рубрику *естественности,*” — пишет Бейли в 1980 году[200]. В том же году Лэсс приходит к совершенно другой оценке. Под заголовком “Почему ‘естественность’ ничего не объясняет” он пишет: “(...) с тех пор, как теория учит, что ‘оптимизация’ должна объясняться в терминах возрастающей ‘простоты’, ‘общий’ означает соответственно ‘естественный’, ‘оптимальный’, ‘простой’. (...) Это объясняет лишь простую тавтологию, что естество склонно к естественности”[201].

Едва ли могут более контрастировать эти суждения двух известных лингвистов. Существует ли объяснение этому? Я думаю, существует, и мое непринужденно сформулированное объяснение звучит так: исследование, которое проводится под знаком ‘естественность’, дало множество интересных, остроумных и ценных результатов. Были сформулированы принципы, были открыты исторические тенденции, в аспекте естественности были пересмотрены эмпирические наблюдения и тому подобное. Но теорети-

[199] Aitchison 1987, с. 29-30.
[200] Bailey 1980, с. 175.
[201] Lass 1980, с. 43.

кам естественности до сих пор не удалось представить последовательной теории естественности. Так, отсутствует ясность как по поводу претензии на объяснение, так и по поводу способа объяснения. Даже центральное понятие ‘естественность’ не получило удовлетворительного объяснения.

Другими словами, чрезвычайно спорной оценкой концепта ‘естественность’ мы обязаны тому, что он, с одной стороны, явился очень продуктивным и стимулирующим, с другой же, не получил теоретической разработки, которая могла бы выдержать острую критику, предпринятую, например, Лэссом. Я покажу это на двух узловых моментах: на понятии естественности и претензии теории естественности на объяснительную силу. Сначала, однако, я попытаюсь как можно понятнее представить идею теории естественности.

Теория естественности охватывает три основных сферы: фонологию, морфологию, а в последнее время и синтаксис. Она берет свое начало в сочинении Стэмпа “ Приобретение фонетической репрезентации” (“The acquisition of phonetic representation”) (1969), в котором была представлена концепция естественной фонологии. В семидесятые годы его идеи были подхвачены и распространены на область морфологии. Прежде всего это заслуга Дресслера, Майерталера и Вурцеля[202]. В своем изложении я буду в значительной степени опираться на теорию естественной морфологии, однако основные мысли в принципе остаются идентичными для всех областей применения.

Основная идея естественной морфологии, говоря словами Вурцеля, состоит в том, что “принятие языком мор-

[202] Общий обзор дают: Dressler, Mayerthaler, Panagl, Wurzel 1987. О естественности в синтаксисе см. Stein 1988.

фологических феноменов может быть оценено по их естественности или маркированности"[203]. Центральные понятия *естественный* и *маркированный* применяются как инверсные синонимы: естественное — это немаркированное, а неестественное маркировано. Между полюсами 'естественный' и 'неестественный' находится континуум — "градуированная шкала от максимально естественного / немаркированного до максимально неестественного / маркированного"[204]. Предположим теперь, что на различных уровнях языка существует ряд принципов, определяющих направление языковых изменений, так называемых "принципов морфологической естественности (маркированных принципов, принципов предпочтения)"[205]. Это такие принципы, как "принцип конструктивной иконичности, принцип морфосемантической прозрачности (...) и принцип системного согласования"[206]; список можно и продолжить. Рассмотрим в качестве объяснения по одному примеру на каждый из названных принципов.

Принципу конструктивной иконичности соответствует, например, такой факт: (обычно) форма множественного числа существительного длиннее соответствующей формы единственного числа, то есть "больше вещей" иконически отражается через "больше фонем". "Если, например, проверить степень иконичности при кодировании множественного числа в английском языке, то выявляется, что тип *boy — boys* максимально иконичен, тип *goos — gees* минимально иконичен, а тип *sheep — sheep* неиконичен"[207]. Тем самым множественное число *sheep* маркировано, то есть

[203] Wurzel 1992, с. 225.
[204] Wurzel 1992, с. 226.
[205] Wurzel 1992, с. 226.
[206] Wurzel 1992, с. 226.
[207] Wurzel 1984, с. 23.

неестественно. Следовательно, можно ожидать, что скорее возникнет *sheep — sheeps,* чем *boy — boy,* и что дети неправильно образуют множественное число **sheeps,* а не **boy.* Например, дети, говорящие на немецком языке, склонны образовывать такие формы множественного числа, как *die Spiegels* и *die Lehrers*.

Принцип морфосемантической прозрачности означает, что лучше кодировать по принципу "одна функция — одна форма", чем использовать одну форму, выполняющую несколько функций. В соответствии с этим древневерхненемецкие формы *zungun — zungono* менее естественны, чем нововерхненемецкие соответствия *die Zungen — der Zungen,* так как в древневерхненемецком формы флексий *-un* и *-ono* несли на себе как функцию числа, так и функцию падежа, тогда как в нововерхненемецком артикль *die* или *der* несет функцию обозначения падежа, а функцию числа несет флексия *-n.*

Принцип системного согласования исходит из того, что морфология языка определяется набором "структурных свойств, определяющих систему"[208]. Формы, не соответствующие этим свойствам, имеют тенденцию заменяться формами, согласующимися с системой. Например, в немецком языке (как и в английском) флексия добавляется к исходной словоформе, а не к ее основе, как в латинском. Но вот в немецком есть ряд слов латинского или греческого происхождения, которые образуют множественное число по принципу добавления окончания к основе: *Aroma — Arom-en, Dogma — Dogm-en* . Согласно тенденции формы множественного числа *Aromen* и *Dogmen* будут заменены соответствующими системе формами *Aromas* и **Dogmas.*

[208] Wurzel 1984, с. 82.

Aromas уже допустимо, **Dogmas* еще считается отклонением.

Различные принципы теории естественности могут вступать друг с другом в конфликт. Типичным является конфликт между “морфологией с ее семиотически мотивированными принципами естественности и фонологией, принципы которой мотивируются артикуляцией или восприятием”[209]. Поясним это на примере. На основе принципов фонологической естественности в немецком языке безударное [e], как в *haben,* произносится как [ə], то есть [ha:bən]. Эта редукция имеет следствием, что носовой [n] ассимилируется в [m]; так [ha:bən] становится [ha:bm]. Последовательность [bm] тоже на основе принципа естественности редуцируется в [m], так что наконец возникает максимально естественная форма [ha:m], что действительно соответствует современному нормальному разговорному произношению (ср., например, лат. *habent* > исп. *han*). Но теперь парадигма, например, *ich* [ha:bə] *wir* [ha:m] противоречит принципу морфосемантической прозрачности. “Развертывание фонологической естественности привело, таким образом, к уменьшению морфологической естественности”[210]. На основе таких конфликтов возникают все новые возможности маркировки, так что язык никогда не достигает оптимального естественного покоя.

Какой онтологический статус приписывается этим принципам? “Естественные принципы (любого компонента) имеют характер универсалий, которые являются тенденциями или, говоря более строго, они являются закономерностями, имеющими характер тенденций, то есть ста-

---

[209] Wurzel 1992, c. 227.
[210] Wurzel 1984, c. 31.

тистических законов (в эпистемологическом смысле слова “закон”)[211]. Следовательно, принципы — это универсальные тенденции, закономерности и статистические законы. Взаимосвязь языковых изменений с этими принципами Вурцель формулирует следующим образом: “Языковые изменения в естественной морфологии проистекают из непрерывного взаимодействия принципов естественности; а это в свою очередь является прямым результатом естественности языковой системы” [212]. Из обоих высказываний, взятых вместе, следует: языковые изменения проистекают из универсальных тенденций, которые имеют характер статистических законов. Это предложение непосредственно показывает, что в этой теории что-то неверно. Универсальные тенденции, о которых идет речь, — это тенденции изменения. Говорить, что изменение следует из тенденций изменения просто неверно. Установленная тенденция не является причиной изменений и не служит толчком к ним, более того, то, что называют тенденцией, есть описательное обобщение установленных феноменов изменения. Тенденции и статистические законы допускают так называемую экстраполяцию направления развития, но не следствия его. Экстраполяции направлений развития отличаются как раз тем, что они являются прогнозами, не дающими объяснений. Взаимосвязь языковых изменений с принципами естественности можно корректно сформулировать следующим образом.

Естественная морфология установила, что языковые изменения в обследованных ею областях направлены, то есть следуют тенденциям. Тенденции частично универ-

[211] Wurzel 1992, с. 229.
[212] Wurzel 1992, с. 229.

сальны. Частично они конфликтуют друг с другом, так что система не достигает состояния покоя.

Этот результат нельзя считать малым! Но он не содержит никакой объяснительной части. А как раз тенденции и их универсальность нуждаются в объяснениях. В дальнейшем я, как обещал, займусь критическим освещением понятия "естественность" и объяснением теории, на создание которой я претендую, а в заключение попытаюсь дать несколько конструктивных предложений.

К понятию "естественность"

Само понятие "естественность", как правило, описывается циклически, тавтологически, но в любом случае неопределенно: обычное является немаркированным, более простым и естественным. Для Майерталера[213] "естественным (...)" является "морфологический процесс или морфологическая структура, если они а) широко распространены и/или б) относительно рано усваиваются и/или в) отличаются достаточной сопротивляемостью к языковым изменениям либо часто возникают в результате языковых изменений и т.д." Вурцель по ошибке называет это гипотезой. Скорее речь идет об акте крещения тавтологии: обычное возникает чаще и исчезает реже, чем необычное, — это тавтология — и называется "естественным" — это акт крещения. Аналогично Вурцель характеризует естественность с помощью понятия "приемлемость в системе". Он устанавливает, "что морфологическое явление тем естественнее и тем менее маркировано, чем больше оно соответствует вышестоящим, определяющим систему свойствам

[213] Mayerthaler 1981, c. 2.

соответствующего языка”[214]. Так как свойства языка, определяющие его систему, являются в этом языке господствующими, обычными, это определение понятия снова говорит о том, что обычное является немаркированным, а немаркированное естественным. Естественные изменения, — добавляет Вурцель то, что уже является как бы лишним, “состоят не в чем другом, как в отмене (...) маркированных явлений в пользу не- или менее маркированных явлений” (там же). Так как “немаркированный” приравнивается к “естественному”, и эта формулировка говорит о том, что естественные изменения переходят от менее естественных к естественным. Наиболее ясно определяет тавтологию Штайн: “Всякий уход от оптимальной естественной структуры более маркирован и менее естественен”[215], из чего можно непосредственно сделать вывод, что “всякий уход от естественного” “менее естественен”.

Наряду с тавтологией определения естественности понимание затруднено прежде всего неясностью области, где употребляется это понятие. Что может быть названо “естественным”? Языковые структуры? Диахронические закономерности? Процессы? (К этому близки формулировки Вурцеля и Майерталера). Или, как предлагает Штайн, “факторы долингвистической инфраструктуры, охватывающей области познания, восприятия и поведения”[216]? Другими словами, неясно, что вообще должно называться естественным. На каком уровне рассмотрения должно найти применение это понятие: на уровне языковых структур и явлений, на уровне диахронических процессов или на уровне коммуникативных действий индиви-

[214] Wurzel 1988, с. 490.
[215] Stein 1990, с. 289.
[216] Stein 1988, с. 474.

дуумов? Прежде чем предложить ответ, я еще немного задержусь на деструктивной части этой главы.

О претензии на объяснение

Следующий открытый вопрос — это вопрос о претензии на объяснение (Erklärungsanspruch). Что вообще, по мнению теоретиков естественности, должно и может быть объяснено? Должны ли объясняться отдельные случаи изменений в языке? Например, почему лат. *inbibere* стало в английском *imbibe* или *in between* станет, возможно, *imbetween* или почему в немецком в качестве множественного числа от *Aroma* утвердится форма *Aromas,* а не *Aromen* ? Следует ли объяснять существующие тенденции, или “потенциальные направления”[217], или “логическую зависимость между индивидуальной тенденцией и единонаправленностью групповых тенденций”[218]? Полагать ли, что можно объяснить тенденцию, или думать, что тенденция объясняет отдельные случаи? К каждой из этих позиций в одном и том же произведении можно найти соответствующие и часто противоречащие друг другу высказывания.

На мой взгляд, теория естественности может превратиться в теорию с объяснительной силой, если будут соблюдены определенные принципы. Я хочу взять пример, который выбрал Лэсс, чтобы подтвердить, “почему естественность не может ничего объяснить”, и показать, что естественность все-таки может кое-что объяснить.

Лэсс выбирает ясный случай естественности и пытается облечь предположительное объяснение в эксплицитную

---

[217] Stein 1990, с. 286.
[218] Stein 1990, с. 286.

форму: соединение согласных [nb] превращается обычно в [mb] — известный процесс ассимиляции. Такое объяснение было бы, к примеру, частью объяснения в рамках теории естественности, почему древневерхненемецкое *einbar* (*beran* — нести) превратилось в средневерхненемецкое *eimber* и в нововерхненемецкое *Eimer*. По Лэссу нужно было бы реконструировать естественно-теоретическое объяснение такой ассимиляции следующим образом:

“$У_1$(словие) последовательность [nb]
$З_1$(акон) [mb] ‘проще, чем’ [nb]

О(бъяснение) [nb] > [mb]

‘О’, конечно, дедуктивно не выводится; ‘$З_1$’ не является в действительности ‘законом’” [219].

Второй шаг Лэсса показывает, что объяснение не становится лучше и через введение так называемого статистического закона. Пересмотренная редакция выглядит следующим образом:

“$У_1$ последовательность [nb]
$З_1$ [mb] ‘проще, чем’ [nb]
$З_2$ Непреодолима (очень велика, достаточно велика и под.) вероятность того, что при наличии выбора говорящие предпочтут ‘более простую’ артикуляцию ‘более сложной’

О [nb] > [mb] “[220]

[219] Lass 1980, с. 18.
[220] lass 1980, с. 19.

Благодаря так называемому статистическому закону объяснение не стало ни лучше, ни ‘мягче’. “О” остается тем, чем оно было: *non sequitur.* Это и должно быть так, потому что статистические законы допускают не следствия, а обобщения. Например, факт, что 90% злостных курильщиков умирает от рака легких, не объясняет, конечно, почему Макс, злостный курильщик, умер от рака легких. Его смерть вызвана химическими и физическими процессами в легких, а не статистикой. Его смерть подтверждает статистику, но статистика не объясняет его смерти. “Отдельные примеры не фальсифицируют теории вероятности”, — корректно констатирует Лэсс[221]. Тем самым объяснение становится псевдообъяснением, не имея объяснительной силы.

Анализ Лэсса корректен. Уничтожающий приговор теоретики естественности навлекли на себя отчасти тем, что они не уточнили своих претензий на объяснение. Лэсс в соответствии с традицией выбрал неблагоприятный для них вариант. Он подразумевает, что теория естественности претендует на то, чтобы объяснять отдельные случаи, например превращение древневерхненемецкого *einbar* в нововерхненемецкое *Eimer*. Но она не может этого. Она может, однако, если ее адекватно сформулировать, объяснить тенденцию. Другими словами, теория естественности объясняет тенденцию; но тенденция, по названным причинам, не объясняет отдельных случаев. Такое объяснение тенденций могло бы выглядеть следующим образом:

$У_1$ Существуют последовательности [nb].
$У_2$ [mb] артикулируется с меньшими затратами, чем [nb].

[221] Lass 1980, с. 19.

$У_3$ Реализация [nb] как [mb] обычно не вредит коммуникативным целям говорящих.

$З_1$ Естественно, люди выбирают из возможных действий те, которые могут дать им наивысший субъективный выигрыш в чистом виде.

$З_2$ Когда большинство населения часто и в одном и том же направлении отклоняется от существующих у этого населения конвенций, возникает сдвиг конвенции в направлении отклонения.

О Обычно возникает сдвиг конвенции от [nb] к [mb].

У этой редакции по сравнению с предыдущими два преимущества: она действенна и обладает объяснительной силой. Хотя она и не может предсказать, превратится ли *in between* в *imbetween*, но она объясняет тенденцию. Фальсифицирующий случай — это не отклоняющееся отдельное событие, а общность с языком, в котором действуют условия $У_1$-$У_3$ и законы $З_1$-$З_2$, но тенденция не представлена. Это объяснение содержит два высказывания о законах, которые — и это является решающим — касаются не языка, а, с одной стороны, поведения человека ($З_1$), а с другой — логики понятия “конвенция” ($З_2$). Само собой разумеется, что отдельные условия и законы, особенно $З_2$, могут быть сформулированы точнее. Смягчающее “обычно” в “О” происходит из условия $У_3$ — и это важно, так как из нечетких условий и “жестких” законов следует “мягкое” объяснение. Из нечетких законов, напротив, не следует ничего.

В чем состоят принципиальные различия между реконструкцией Лэсса, дающего естественно-теоретическое объ-

яснение превращения [nb] в [mb], и моим предложением? Их три:

1) Лэсс в своей реконструкции пытается объяснить отдельный случай, в моем объяснении установлено наличие тенденции.

2) Мое объяснение строго отделяет микроуровень индивидуальных действий от макроуровня языковых структур.

3) Своим объяснением я обязан принципам методологического индивидуализма. Это означает: исходным пунктом объяснения являются действующие индивидуумы, а не языки, структуры, процессы или коллективы[222].

Строгое разделение микро- от макроуровня позволяет избавиться от неблагоприятного терминологического дублета *естественный* и *немаркированный,* которому мы во многом обязаны тавтологией упомянутых выше определений. По-моему, было бы разумно закрепить предикат *естественный* за микроуровнем, а предикат *(не)маркированный* — за макроуровнем. Такое терминологическое различение позволяет сформулировать эмпирическую, но не тавтологическую гипотезу: естественный способ поведения говорящих (т.е. отражающий "естественные принципы человеческой натуры", в том смысле, который вкладывали в него философы просвещения) при определенных условиях порождает немаркированные структуры на уровне языка. В моем объяснении такое предположение о естественности содержится в $З_1$. Естественность (человеческого поведения) и маркированность (языковых структур) могут, таким образом, определяться

[222] Ср. Albert 1990.

независимо друг от друга и соотноситься друг с другом в системе.

Модифицированная таким образом теория естественности не вступает в противоречие с постулатом, что всякая объяснительная теория языковых изменений должна иметь форму теории невидимой руки. Предложенное мной объяснение является объяснением посредством невидимой руки, которое содержит предпосылки теории рационального выбора. Основная мысль теории рационального выбора состоит в следующем: действия человека определяются тремя факторами: целью действия, возможностью действовать и ограничением действия. Люди в состоянии так составить иерархию из тех альтернативных действий, которые они могут выбрать в соответствии с той или иной целью, чтобы получить наибольшую для себя пользу. Эту способность называют *рациональностью действия.* Это означает: если человеку для достижения его цели представляется выбор из нескольких альтернативных действий (а это почти всегда так и есть), то он выбирает те из них, которые обещают наивысшую субъективную пользу, какую только он может ожидать. (Это относится к матери Терезе так же, как к какому-нибудь мазохисту или нью-йоркскому брокеру. Они различаются не по рациональности своих действий, а по оценкам пользы[223]). Чистая польза действия — это польза за вычетом затрат. Так как действующему не обязательно должна быть известна вся

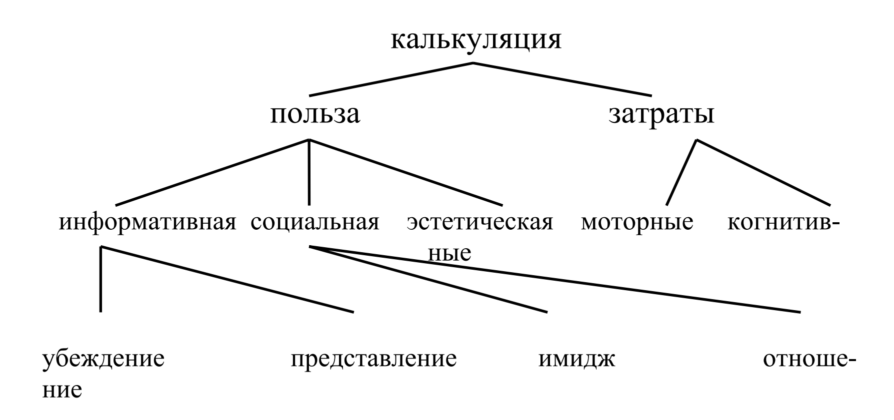
[223] Стремление к оптимальной чистой пользе не имеет ничего общего с тем, что называют эгоизмом или альтруизмом. Эгоистические действия — это такие действия, которые не учитывают в калькуляции затрат и полезности (позитивные или негативные) последствия для других. Альтруистические действия — это такие действия, совершая которые, не ждут хвалебных действий от других.

полнота объективных возможностей действия и объективно данные условия действия, он использует ограничение чистой пользы до субъективно ожидаемой чистой пользы. Выбор действия обоснован тем лучше, чем больше преимуществ действующее лицо находит в соотношении затрат и пользы. Выбор действия можно считать объясненным, если показать, что выбор субъективно оптимален при известных действующему лицу условиях. (Я не могу здесь остановиться на рациональности субоптимального выбора, так называемого "удовлетворения" ("satisficing"[224]). Таковы основные предпосылки теории рационального выбора. Вернемся, однако, к теории естественности.

Уже в начале XIX века лингвисты знали, что развитие языка как-то связано с экономией, со стремлением к экономной артикуляции и с принципом наименьших затрат[225]. Язык растет, подчиняясь "естественному закону мудрой экономии", — пишет Якоб Гримм[226]. Это одна из традиций, из которых произрастает теория естественности, поэтому фонология и морфология и рассматривались как основные сферы, где возможно применить попытки естественно-теоретического объяснения, поскольку это области, в которых наиболее отчетливо видны "законы мудрой экономии". Так как фактор экономии усилий при коммуникации менее доступен сознанию, чем фактор оптимизации пользы, то особенно актуальна опасность абстрагирования от говорящего и гипостазирования языка. Но цель говорящих — вовсе не снижение затрат: кто хотел бы оптимизировать эту сторону, тот выбрал бы молчание. В коммуникации, как и в других действиях, речь идет о том,

[224] Ср. Slote 1989.
[225] Ср. Lyons 1968, с. 89 и сл.
[226] Grimm 1819, с. 2.

чтобы оптимизировать баланс затрат и пользы. Это отчетливо показала уже теория Гельмута Людтке (Гл. 5.1). Затратные и полезные факторы, которые при выборе коммуникативных действий входят в калькуляцию выбора языковых средств, можно представить в диаграмме:



Эта диаграмма должна говорить следующее. На стороне пользы следует различать информативную, социальную и эстетическую пользу; на стороне затрат — моторные и когнитивные затраты. Информативная польза может касаться убеждения или представления. Социальная польза может касаться собственного имиджа или отношения к другим. Следовательно, на выбор языковых средств влияют в конечном итоге 5 полезных факторов и 2 затратных. Полезные факторы: убеждение (например, выражение с большей силой убеждения или более понятное), представление (например, более меткое слово), эстетика (более красивая формулировка), имидж (выбор престижного слова), отношение (более вежливый вариант). Затратные факторы: моторные затраты (например, артикуляционная энергия, длина слов и т.п.) и когнитивные затраты (мощность накопления, запоминаемость и т.п.). Если исходить

из того, что, например, желание произвести на партнера по разговору хорошее впечатление не менее естественно, чем стремление уменьшить артикуляционные затраты, мы должны прийти к выводу, что область применения теории естественности не должна быть ограничена фонологией и морфологией, но может охватывать синтаксис и семантику. Согласно этой концепции предметом теории естественности являются те феномены языковых изменений, которые обусловлены универсальными человеческими правилами действования ("принципами человеческой природы") и могут по-разному проявляться в том или ином языке в зависимости от его исходного состояния.

5.3. Диахрония или синхрония?

Теория правил и их роль для процесса невидимой руки может пролить свет на взаимосвязь синхронии и диахронии. Однако сначала бросим взгляд на употребление обоих этих терминов в современном "лингвистическом обиходном языке".

Понятийным оформлением обоих измерений языка и его рассмотрения мы обязаны, как известно, Фердинанду де Соссюру. Различение, конечно, старше, чем его терминологическая фиксация[227]. Что нужно точно различать при разграничении синхронии и диахронии, и сегодня представляется не бесспорным. Одни видят в этом преимущественно онтологические предикаты, которыми обозначаются два "способа существования языка", другие хотели бы понимать их как методологические предикаты, которые служат для того, чтобы обозначать различные аспекты рассмотрения языка, различные перспективы его исследо-

[227] Ср. Jäger 1984, с. 711 и сл.

вания[228] . “Де Соссюр занимался не онтологией, а методологией. (...) Поэтому различие между синхронией и диахронией относится не к *теории языка,* а к *теории языкознания”*, — рассуждает Косериу[229]. Чем в действительности занимался де Соссюр, отчасти потому неясно и толкуется так противоречиво, что имя “де Соссюр” применяется все это время для обозначения различных авторов: с одной стороны, Фердинанда де Соссюра, а с другой — авторов “Курса общей лингвистики”. Как известно, это разные лица. “Курс” был составлен двумя швейцарскими лингвистами, Шарлем Балли и Альбертом Сеше, провозгласившими, что в нем переданы мысли, которые де Соссюр излагал в одноименных лекциях. Однако сами авторы не слушали лекций. Их “источниками” были студенческие записи лекций, а также лингвистические знания, которыми они располагали как признанные лингвисты своего времени. Неудивительно поэтому, что при “реконструкции” лекций из неполных записей, которые ведь должны были содержать интерпретативные искажения, в них (волей-неволей) вплетены собственные теории авторов как якобы соссюровские. Я не хотел бы здесь вдаваться в подробности реконструкции теорий[230], которые представлял сам Соссюр. Во всяком случае общее понимание де соссюровской дихотомии и тем самым употребление терминов “синхрония” и “диахрония” в сегодняшнем “лингвистическом обиходном языке” во многом сформировано представленной в “Курсе” версией Балли-Сеше. А в ней, как мне кажется, действительно предпочитается методологическое видение, вкупе с рекомендацией строго разграничивать

---

[228] Ср. Jäger 1984, с. 711 и сл.
[229] Coseriu 1958/1974, с. 21.
[230] К вопросу реконструкции см. Jäger 1976, а также Scheerer 1980.

оба уровня рассмотрения и с тенденцией отводить синхронии главенствующую роль.

Синхроническая перспектива — это способ рассмотрения состояния языка, абстрагирующийся от изменений, или динамики; диахроническая перспектива — это способ рассмотрения двух или более различных во времени состояний одного языка. "Диахроническое языкознание исследует не (...) отношения между элементами состояния языка, существующими одновременно, а отношения между сменяющими друг друга элементами, из которых один с течением времени заступает на место другого"[231].

Вернемся на мгновение еще раз к описанному в главе 4.4. пробному объяснению исчезновения из нашего языка слова *englisch* в значении *engelhaft.* Вспомним, что оно имело следующую форму: при имевшихся в середине XIX века (языковых и неязыковых) условиях (а) — (i) коммуникация по правилам $П_1$ и $П_2$ должна была иметь следствием описанный процесс невидимой руки, который на основании законов $З_1$ и $З_2$ неизбежно привел к "вымиранию" слова *englisch₁.*

Здесь речь идет о констатации согласно синхронической или диахронической перспективе? Мы можем спросить и в более общей форме: теория языковых изменений относится к области синхронического или диахронического рассмотрения языка? Если мы вслед за этим еще раз посмотрим на определение Балли-Сеше, мы можем утверждать: ответ может быть или "как, так и", или "ни, ни". Если вопрос допускает в качестве ответа два противоположных высказывания, то всегда можно сделать вывод: что-то не в порядке с понятиями. В данном случае выявляется, что понятия "синхронии" и "диахронии" не созданы

[231] De Saussure 1916/1967, с. 167.

для проблемы изменений. В основе своей это теоретические понятия для изучения истории языка, а не теории изменений. Понятия "состояние" и "история" очень отличаются от понятий "статика" и "динамика". "Прошлое — это то место, где нечто неопровержимо случилось и создано"[232]; что принадлежит истории, статично, текущая современность — это место динамики. Теория изменений — это не теория истории, а теория динамики "состояния". Мне кажется, такое объяснение пригодно для того, чтобы выполнить требование, выдвинутое Косериу в 1980 году в сочинении "О примате истории", которое он назвал "интегрированной синхронией"[233], видя его задачу в определении, каким образом "функционирование языка совпадает с языковыми изменениями"[234].

В самом деле, проблема изменения языка (или феномена третьего вида) — это не историческая проблема. Кто сравнивает покупательную способность немецкой марки в момент времени t_1 с покупательной способностью в моменты времени t_2, t_3, ...t_n, тот занимается историческим исследованием и получает таким образом историю денежной стоимости марки. Но таким образом он не получит теории инфляции. Кто хочет объяснить потерю покупательной способности в определенный период времени, будет использовать для этого теорию инфляции; но такую теорию не получишь, обобщая, к примеру, исторические описания покупательной способности. Что проблема изменения — не историческая проблема, констатировали многие авторы: например, Карл Менгер, который обозначил ее как проблему "т е о р е т и ч е с к о г о (курсив К.М.) исследова-

[232] Garaudy 1973, с. 139.
[233] Coseriu 1980, с. 144.
[234] Coseriu 1980, с. 136.

ния общества"[235]; или Евгений Косериу, который назвал ее "рациональной проблемой"[236]; а также Фридрих фон Хайек, который писал: "Проблема образования таких структур (как например, рынок или язык — Р.К.) является все-таки теоретической, а не исторической, потому что она занимается такими факторами в последовательности событий, которые в принципе повторимы, хотя они и могут иметь место в действительности только один раз"[237].

Дихотомия "синхрония — диахрония" в основе своей потому не подходит к размышлениям о становлении языка и изменениях в нем, что в ней речь идет (по меньшей мере в стандартном значении этих выражений) о понятиях эргона в чистом виде, о понятиях, необходимых для характеристики наблюдений над языком в овеществленном смысле. Тем самым мы подошли к другой проблеме, которая при ближайшем рассмотрении оказывается связанной с проблемой синхронии — диахронии.

5.4. И-язык Хомского

Должны ли лингвисты понимать и исследовать язык в первую очередь как языковую способность или они должны рассматривать его в первую очередь как (относительно) автономное образование, абстрагируясь от говорящего? Дискуссия по этому вопросу в последнее время пережила ренессанс.

Известно, что вопрос этот поставил Гумбольдт. По его версии проблема состояла в том, следует ли рассматривать язык скорее как произведение или скорее как способ-

[235] Menger 1883/1969, с. 169.
[236] Coseriu 1958/1974, с. 94.
[237] Von Hayek 1969, с. 254. Ср. также гл. 2.3.

ность. Как мы знаем, он склонялся к последнему: “Нужно рассматривать язык не как мертвое произведение, но гораздо шире, как порождение”[238].

В другом месте он выражается еще решительнее: “Сам (язык) является не произведением (Ergon), а деятельностью (Energeia)”[239]. Это признание Гумбольдта едва ли имело последствия для практической лингвистики, так что Косериу по праву мог констатировать: “Это утверждение часто цитируется, однако в большинстве случаев для того, чтобы побыстрее снова его забыть и убежать в язык как εργον (эргон — О.К.)“[240]. Я думаю все же, что при этом в большинстве случаев речь идет не о бегстве, а о требовании, определяемом целью работы. Какая польза лингвисту, который сочиняет словарь, историю языка, грамматику отдельного языка или учебник, в премудрости, что язык в первую очередь не произведение, а деятельность или “что собственно язык заключается в акте его действительного преподнесения”[239]? Что бы ни понимать под “собственно”, для большинства типов лингвистических исследований будет полезно делать так, как будто язык есть эргон. Другими словами, гипостазис и опредмечивание — это **в большинстве случаев** не теоретико-познавательная ошибка, а практическая необходимость. В большинстве случаев, но не всегда. Ошибкой является способ рассмотрения, ориентированный исключительно на эргон, где на переднем плане действительно стоят вопросы генезиса, порождения. Представляется, что это в значительной степени характерно для генеративной теории и теории языко-

[238] Humboldt 1836/1907, с. 44.
[239] Humboldt 1836/1907, с. 46.
[240] Coseriu 1958/1974, с. 37 и далее.

вых изменений. А это как раз области, в которых поставленный Гумбольдтом вопрос сегодня снова дискутируется, хотя и в новом обличье.

Сторонники генеративной теории представляют себе, что каждый компетентный говорящий располагает определенным языковым знанием, которое позволяет ему производить сколько угодно предложений и понимать сколько угодно предложений. Это языковое знание, которое само слагается из множества взаимодействующих между собой компонентов, называется грамматикой. Дальше предполагается, что эта грамматика только частично должна быть усвоена, пока ребенок подрастает. Согласно этой теории частью этих способностей мы обладаем уже с рождения. Они рождаются вместе с человеком, то есть являются частью нашего биологического оснащения и тем самым универсальны. Эта врожденная часть языкового знания называется "универсальной грамматикой" (УГ). "УГ может быть рассмотрена как характеристика генетически детерминированной языковой способности, (...) как теория 'начального положения' языковой способности"[241]. Думают, что без такого предположения нельзя объяснить, почему все здоровые дети на этой земле, независимо от того, каким языком им предстоит овладеть, независимо от их ума и в значительной степени независимо от их социального окружения, за такое короткое время способны усвоить язык своего окружения, хотя языковые данные, которые ребенок обычно от него получает, чрезвычайно ограничены и зачастую непригодны для применения. Ребенок способен к этим достижениям в возрасте, когда он далеко не в состоянии овладеть другими такими же сложными способностями. (Ребенок может, например, образовывать кон-

[241] Chomsky 1986, с. 3.

традикторные условные предложения еще до того, как он в состоянии нарисовать карандашом на бумаге круг!) Полагают, что в этой врожденной части нашего языкового знания речь идет не столько о позитивных правилах, сколько об ограничительных принципах. (К примеру, наша система права и морали говорит нам тоже, в первую очередь, не то, что мы можем делать, а то, чего нам делать нельзя. Если бы кто-то захотел кодифицировать разрешенное, это было бы неэкономно и невозможно выучить, так как область разрешенного, вероятно, не определена).

На базе этих врожденных принципов, а также собственного языкового опыта у ребенка образуется внутренняя грамматика, которая тем или иным способом ментально репрезентирована. Согласно новой терминологии, эта представленная в человеке грамматика называется и(нтериоризированной) (внутренне материализованной, присвоенной — О.К.) грамматикой[242]. Следуя этой терминологии, И-языком называется тот, который специфицируется такой И-грамматикой (а это означает, что множество предложений признаются такой И-грамматикой грамматически правильными). При этом важно следующее: если человек, к примеру, выучил наизусть стихотворение, то он тоже располагает ментальной репрезентацией этого выученного стихотворения. Но эта репрезентация не относится к стихотворению так, как И-грамматика к И-языку,

[242] Chomsky 1986, прежде всего гл. 2.3, с. 21 и далее. Я предполагаю, что это различие восходит к Cloak 1975. В сочинении “Возможна ли культурная этология?” Клоак отличает И-культуру от материализованной вовне э(кстериоризованной) культуры. Однако в отличие от Хомского для Клоака Э-культура обладает не только эвристической значимостью для исследования И-культуры. Он понимает, что обе усиливают друг друга и потому должны быть рассмотрены в отношении друг к другу (ср. с. 168 и далее).

так как соответствующая И-грамматика определяет, что относится к И-языку, а что нет. В случае же со стихотворением именно оно логически первично.

До сих пор лингвист традиционного толка мог бы беззаботно следовать за нами. Все-таки можно предположить, что он возразил бы: то, что Вы, хомскианцы, говорите об И-грамматике и ее отношении к И-языку, — все это прекрасно. Но меня как лингвиста это интересует лишь в последнюю очередь, так как в задачу лингвиста не входит исследовать, что у ребенка в голове. Что интересует лингвиста — так это немецкий язык! А он существует независимо от того, что представлено в твоей или моей голове. Грамматика немецкого языка — это нечто совсем другое, чем грамматика, которая создается в голове у какого-то человека.

Что представляется нашему фиктивному традиционному лингвисту возможным, так это создание материализованной вовне э(кстериоризованной) грамматики Э-языка. В соответствии с его картиной мира Э-язык, естественно, является данным, а Э-грамматика производна от него.

Хомскианец возразил бы на это: то, что ты называешь "немецким языком", — это довольно рискованный конструкт. Строго говоря, здесь речь идет даже не о лингвистически релевантной категории. Называем мы что-то языком или нет, во многом зависит от политических и социологических оценок[243]. К тому же: или язык есть нечто, чем действительно кто-то "владеет"; тогда твоя Э-грамматика этого языка снова совпадает с И-грамматикой компетентного говорящего на этом языке. Или же язык в твоем смысле есть нечто, чем реально "не владеет" ни одно эмпириче-

[243] Grewendorf, Hamm, Sternefeld 1987, с. 24.

ское лицо; тогда язык в твоем смысле есть нечто, чему нет соответствия в реальном мире. “Если Вы говорите о языке, — пишет сам Хомский, — Вы всегда говорите об эпифеномене, Вы говорите о чем-то находящемся на более высоком уровне абстракции, чем актуальный физический механизм”[244]. А в другом месте он пишет: “Понятию Э-языка нет места в этой картине (т.е. в его теории языка — Р.К.). Нет предмета спора о правильности Э-языка, как бы его ни характеризовать, потому что Э-языки — это артефакты. Мы можем определить Э-язык тем или иным способом или можем вообще не определять его, потому что выявленный таким образом концепт не играет никакой роли в теории языка”[245].

Я хотел бы не продолжать этот спор, а соотнести друг с другом И-Э-дихотомию и представленный здесь концепт языка как феномена третьего вида.

Для представителей генеративной теории И-грамматика является собственно предметом исследования в лингвистике. Только она одна действительно материально существует. “Грамматики должны иметь реальное существование, это означает, что в Вашем мозгу есть нечто, что соотносится с грамматикой. Доказано, что это так и есть”[246]. И-язык — это, так сказать, “внешне” воспринимаемая манифестация И-грамматики. Она служит лингвисту как эмпирическая база данных для реконструкции порождающей его И-грамматики.

Особый интерес вызывает при этом та часть И-грамматики, которая рассматривается как врожденная. Она является общей для всех людей и тем самым общей для всех

[244] Chomsky 1982, с. 108.
[245] Chomsky 1986, с. 26.
[246] Chomsky 1982, с. 107.

грамматик возможных (естественных) человеческих языков, поэтому эту часть И-грамматики называют еще универсальной грамматикой. Исследование универсальных принципов нашей языковой способности приобретает особую значимость по двум причинам. Во-первых, само по себе интересно знать что-то об организации человеческого духа, а во-вторых, с их помощью можно о б ъ я с н и т ь некоторые структурные свойства нашего языка (И- или Э- не играет здесь роли). Объяснение, которое заслуживает этого имени, обязательно, как мы видели в гл. 4.2., должно соотноситься с общими законами или принципами. Если мы хотим не только адекватно описать правила, составляющие грамматику какого-то языка, но и объяснить, п о ч е м у они таковы, каковы они есть, тогда биологическая организация духа нашего вида представляет собой адекватную ступень обоснования.

Ошибкой является, на мой взгляд, исключительность, с которой представители генеративной теории делают И-грамматику предметом своего исследования. Поскольку, однако, она проявляется исключительно как самоограничение, она более или менее безопасна (пока генеративисты не получили абсолютного большинства в республике ученых). Пользу этого самоограничения увидеть легко. Так компетенция говорящего становится (физическим?) свойством личности. “Мы предполагаем, что если слушающий знает какой-то язык, то это означает, что его разум / мозг находится в определенном состоянии”[247]. Высказывания о языке интерпретируются как “утверждения о структуре мозга”. Из этого следует: “Утверждения об И-языке (...) либо верны, либо ложны”[248] в самом строгом

[247] Comsky 1987, с. 26.
[248] Chomsky 1986, с. 23.

смысле. Тем самым достигается то, о чем лингвисты мечтают последние сто лет: “Универсальная грамматика и теории И-языка, универсальные и частные грамматики идут н а р а в н е с н а у ч н ы м и т е о р и я м и в других областях.(...) Лингвистика будет инкорпорирована в естественные науки”[249]. Так в мгновение ока простой переинтерпретацией исследовательской деятельности ученые в сфере духа и общества стали учеными-естественниками: “Сегодня продолжается дистрибутивный анализ Э-языка, но сейчас он называется “анализом генетического дара””[250]. С этого момента лингвистика “равна” (“on a par”) естественным наукам!

По всей видимости, ошибка состоит в следующем: предполагается, что все разумное о грамматике какого-либо языка следует говорить тогда, когда полностью и адекватно описана И-грамматика. Например, Гильберт Фанзелов и Саша Феликс прилагают немало усилий для того, чтобы доказать: предположение о том, что язык является конвенциональной системой, которая, “благодаря ‘процессу невидимой руки’, возникает как бы сама по себе”[251] неприемлемо или уж в лучшем случае излишне.

Аргумент неприемлемости развертывается следующим образом. Конвенции всегда являются произвольными. “Представляется, что понятие конвенции всегда имплицирует возможность нарушения конвенции”[252]. Дети, однако, знают язык своего окружения не через конвенцию, так как “у детей вообще нет другого выбора”[252]. Итак: “С этой точки зрения возникает большой вопрос, можно ли в действительности обозначить усвоение и применение языка

[249] Chomsky 1986, с. 27 (выделено мной — Р.К.).
[250] Itkonen 1991, с. 71.
[251] Fanselow, Felix 1987, с. 58.
[252] Fanselow, Felix 1987, с. 61.

как конвенцию"[252]. Так как "...каждый по необходимости учит и употребляет язык своего окружения; вопрос о конвенции и потенциальных альтернативах здесь вообще не возникает"[253].

В этом аргументе используется "принцип неразличения различного" Фреге[254]. Вопрос о том, представляет ли собой немецкий язык (целиком или частично) систему конвенций, отличается от вопроса, является ли конвенцией то, что маленькие дети усваивают язык своего окружения. Дети учат свой родной язык не потому, что "принято" это делать, а потому, что так "предусмотрено" их физиологическим строением. Следовательно, это действительно не конвенция, что "немцы говорят по-немецки или французы по-французски"[255] (хотя конвенцией будет называть то, на чем они говорят, "немецким" или "французским языком"). Однако предмет их языкового усвоения (в значительной степени) конвенциональной природы. Другими словами то, что они учат, — конвенционально, то, что они учат это, — генетически детерминировано.

Таков аргумент неприемлемости Фанзелова - Феликса. Рассмотрим их аргумент избыточности. Он развертывается так. Если язык — конвенция, то "предметом конвенции в конце концов должна быть грамматика"[256]. Тогда возможно представить, "что конвенция манифестируется попросту в том, что (...), например, все говорящие на немецком языке располагают ментально репрезентированной (...) И-грамматикой, которая в центральных областях одинакова для всех индивидуумов и потому обеспечивает возмож-

---

[253] Fanselow, Felix 1987, с. 62.
[254] Frege 1966, с. 115.
[255] Fanselow, Felix 1987, с. 62.
[256] Fanselow, Felix 1987, с. 59.

ность языковой коммуникации друг с другом"[257]. Но если конвенция состоит "во владении И-грамматикой", то "конвенцию (...) можно полностью редуцировать до И-грамматики, то есть полное и адекватное описание И-грамматики одновременно будет и полной и адекватной характеристикой конвенции"[257].

Таков этот аргумент. Насколько велика его внутренняя значимость, зависит от того, как разрешить неясность, которая скрывается в представленном здесь предположении о конвенциональности. Состоит ли предмет конвенции в подобии И-грамматик или авторы хотят считать конвенциональным предмет языкового знания, которое составляет И-грамматику? В первом случае вообще ничего не редуцируется, так как спецификация нескольких (или всех) И-грамматик дает теорию языкового знания соответствующих говорящих, а не теорию подобия языкового знания "в центральных областях". Во втором случае можно было бы действительно говорить о частичной редукции. Предмет конвенции был бы действительно охвачен "полной и адекватной спецификацией И-грамматики", но не конвенциональность предмета.

Здесь закоснелый генеративист мог бы конечно сказать: "Аспект конвенциональности меня не интересует! Меня интересует универсальная грамматика, а она по определению не конвенциональной природы, а наследственной." Но тем самым принимается отказ от условия адекватности, которое все лингвисты ставят к своим теориям.

Предположим, говорящий произносит такие предложения, как это:

[257] Fanselow, Felix 1987, с. 60.

“Erst wurde getanzt, dann wurde nach Hause gegangen und schließlich wurde geschlafen”.

Произносящий такие предложения не нарушает (хотелось бы думать) принципов универсальной грамматики; он просто не знает, что от глаголов, образующих перфект с *sein,* не “разрешается” образовывать безличный пассив. Как правило, целью лингвистической теории является описание И-грамматики не языковых причудников[258], а, как сформулировал Хомский еще в 1965 году, говорящего, который “отлично знает свой язык”[259]. Конечно, Хомский и в 1986 году не обходится без идеализации. Его интересует не И-грамматика какой-то личности, а только “случай, касающийся личности с однородным опытом в идеальном блумфилдовском языковом сообществе, где нет диалектальных различий и вариаций между говорящими”[260]. К тому же язык “гипостазированной языковой сообщности (...) следует понимать как ‘чистую’ ступень УГ”[260]. Это означает, что идеализация перемещается. Раньше (в 1965 году) предметом исследования был идеализированный говорящий, сегодня он, кажется, просто человек, как ты и я, которому, однако, повезло научиться говорению в совершенно идеально “гипостазированном” языковом сообществе. Но это ничего не означает, кроме того, что Хомского интересует исключительно говорящий, И-грамматика которого **приспособляема к конвенции**. Приспособляема к

[258] Ср. Hurford 1987, с. 25.
[259] Chomsky 1965/1969, с. 13.
[260] Chomsky 1986, с. 17.

конвенции не означает идентична конвенции. Каждый из нас участвует в конвенции немецкого, но ни один из нас полностью ее не перекрывает. Следовательно, нет ни одного человека, чья И-грамматика была бы такова, что ее “полная и адекватная спецификация” полностью и адекватно соответствовала бы предмету грамматической конвенции немецкого языка.

В отношении И-языка каждый говорящий является исконно компетентным. Поскольку, как мы видели, И-язык — это точно то множество предложений, которое допустимо производящей его И-грамматикой. Компетентный говорящий на немецком языке — это, напротив, тот, чья И-грамматика порождает И-язык, приспособляемый к конвенции. Этот язык приспосабливается к конвенции именно тогда, когда он составляет подмножество того Э-языка, который порождается Э-грамматикой, то есть универсальными и конвенционально значимыми принципами и правилами языкового сообщества.

Конечно, язык сообщества находится на “более высоком уровне абстракции”, чем И-язык; и в действительности язык является эпифеноменом в том смысле, в котором феномены третьего вида являются эпифеноменами порождающих их действий. Но нет ничего затрагивающего честь в том, чтобы быть эпифеноменом. В области культуры эпифеномены как раз представляют интерес. Инфляция — эпифеномен наших экономических действий, возможно, что и религии являются эпифеноменами, упоминавшиеся проложенные тропы и пробки на дорогах — такие же эпифеномены, как языки в гипостазирующем смысле. Нужно ясно представлять себе, от чего отказываешься, добровольно исключая абстрагирующий шаг от индивидуального действия согласно индивидуальной компетенции к выводимому из него феномену невидимой руки, — во-

п е р в ы х , от уже упомянутой мысли о приспособляемости индивидуальной компетенции к конвенции, а вместе с тем и от адекватной концепции усвоения языка. Так как основой усвоения языка являются, с одной стороны, врожденные принципы универсальной грамматики, а с другой — опыт (как активный, так и пассивный) коммуникативных успехов и поражений, то, приобретая опыт успеха и поражения (включая все возможные оттенки), ребенок учится отфильтровывать из разношерстной массы языковых данных те из них, которые конвенционально значимы в данном обществе. Хомский указывал на то, что врожденное языковое знание является фильтром для возможных языков, о чем пишет Джеймс Харфорд и продолжает: "Я хочу подчеркнуть, что арена употребления тоже является фильтром"[261].

В о - в т о р ы х , если отказываешься от названного абстрагирующего шага, отказываешься от возможности рассмотреть языковые изменения. С помощью И-Э-дихотомии Хомского мы можем различать И-изменения и Э-изменения. Если мы сделаем это, мы снова будем констатировать, что Э-феномен не редуцируется до одного или нескольких И-феноменов. К примеру, из утверждения, что из Э-лексикона немецкого языка, и тем самым из Э-грамматики, исчезло слово *englisch* в значении *engelhaft*, вовсе не следует, что это слово исчезло из чьего-то И-лексикона и из его же И-грамматики. Само собой разумеется, что из утверждения об изменениях в моей И-грамматике вовсе не следует, что в Э-грамматике произошли похожие, соответствующие или вообще какие-либо изменения.

[261] Hurford 1987, с. 24.

Другими словами, И-изменения ни необходимы, ни достаточны для Э-изменений, а Э-изменения ни необходимы, ни достаточны для И-изменений. И-изменения — это не языковые изменения, а языковые изменения — это не то, что происходит в голове говорящего. “Различие между И-языком и Э-языком полезно в том смысле, что оно побуждает лингвистов задаться вопросом, что же является актуальным объектом их изучения. Но допустимым ответом на этот вопрос может быть то ‘или’, то ‘оба’”[262]. Для вопросов, касающихся языковых изменений, ответом может быть только “оба”. Так как, используя терминологию Хомского, дать объяснение языковому изменению означает показать феномен Э-языка как эпифеномен, необходимо вытекающий из массового употребления И-грамматик членов языкового коллектива при определенных исторических условиях. Само собой разумеется, что для употребления И-грамматики нужно знание, которое превосходит знание, образующее И-грамматику. Это очень отчетливо подчеркивает и Хомский. Он пишет, что пока мы не ответили на вопросы “как мы говорим” и “как мы действуем”, “будет некорректным говорить, что выявлено нечто очень важное(...), я не только признаю, но и настаиваю на этом”[263]. Как мне кажется, генеративисты упускают из виду, что сам Э-язык является условием, при котором говорящие применяют свою И-грамматику, усваивают и модифицируют ее.

[262] Hurford 1987, с. 26.
[263] Chomsky 1980/1981, с. 80.

5.5. Третий мир Поппера

Нельзя упрекать генеративистов в самоограничении. Это их законное право, их форма рассмотрения языка, которая позволяет им относить его “к когнитивной психологии и (рассматривать — Р.К.) исследования языка в конце концов даже как часть биологии человека”[264]. Сомнения вызывают у меня только зачастую связанные с этим подходом гегемонистские притязания; как будто только эта программа исследования идентична с лингвистикой “вообще”. “Теория частной и универсальной грамматики, насколько я могу видеть, может быть разумно рассмотрена только (выделено мной — Р.К.) как тот раздел теоретической психологии, который изначально связан с генетически детерминированной программой, специфицирующей ранг возможных грамматик (...)”[265].

В качестве контраста к подходу Хомского иногда выдвигается тезис, что язык является феноменом “третьего мира”. “Ясно, что языки являются более абстрактной реальностью, чем индивидуальная компетенция. Если перевести это в термины Поппера, получится, что язык относится к третьему миру, тогда как индивидуальное знание языка относится ко второму миру”, — пишет Джеймс Харфорд[266] в полемике с И-Э-дихотомией Хомского. В соответствующем контексте Роджер Лэсс пишет: “Если (...) языки и находятся ‘в’ каком-то мире, то только в мире, подобном ‘третьему миру’ Поппера”[267]. Лэсс пишет в одной

---

[264] Grewendorf, Hamm, Sternefeld 1987, с. 22.

[265] Chomsky 1981, с. 8.

[266] Hurford 1987, с. 25.

[267] Lass 1980, с. 3; ср. также с. 130, сн. 12. Так как Роджер Лэсс говорит о себе “Я немножко платонист” (личная беседа), возможно, для

из более поздних работ, что нам для этого нужна “теория истории объектов третьего мира”. Требование обосновывается следующим образом: “Я убежден, что резонно считать истории языков, по меньшей мере некоторые из их особенностей, автономными объектами, долговременные морфогенетические сценарии которых развертываются в чем-то вроде попперовского третьего мира”[268]. Сам Поппер тоже рассматривает языки как часть третьего мира.

Внешняя похожесть “третьего мира” и “феноменов третьего вида” — чистая случайность. Но все-таки будет показательно противопоставить друг другу теорию “трех миров” и теорию “трех видов феноменов”. Это и является предметом данной главы.

Рассмотрим сначала теорию “трех миров”. Карл Р. Поппер расчленяет нашу действительность на три мира: “Сначала существует физический мир — универсум физических предметов (...); я хотел бы назвать его ‘первым миром’. Во-вторых существует мир психических состояний, включая состояния сознания, психических диспозиций и неосознанных состояний; его я хочу назвать ‘вторым миром’. Но есть еще и *третий* мир, мир содержания мышления и продуктов человеческого духа; его я хочу назвать ‘третьим миром’”[269]. Итак, наряду с внешним “миром физических предметов” и внутренним “миром субъективных переживаний” Поппер постулирует еще один в н е ш н и й мир, который особым образом соотносится с нашим внутренним миром, оставаясь все-таки внешним, а именно миром “продуктов человеческого духа”[270]. К этому миру

него подошла бы и концепция П(латонического)-языка Хомского (ср. Chomsky 1986, с. 33).

[268] Lass 1987, с. 170.

[269] Popper, Eccles 1977/1982, с. 63.

[270] Popper, Eccles 1977/1982, с. 38.

относятся в первую очередь продукты сознательной запланированной духовной деятельности, научные теории, гипотезы (истинные и ложные) и произведения искусства. Для Поппера, главным образом, интересны теории и гипотезы. Но и язык является частью третьего мира. Ему отводится в этом мире особое значение: “Вероятно, одним из первых продуктов человеческого духа является человеческий язык. Я даже предполагаю, что язык действительно был первым из этих продуктов”[271]. Конечно, Поппер осознает факт, что язык не является запланированным человеческим продуктом. “Предметы третьего мира созданы нами самими, хотя они не всегда являются продуктами планомерного творчества отдельных людей”[272]. В таблице под названием “Некоторые ступени космической эволюции” “человеческие языки” вместе с “теориями (мифами) о нас самих и о смерти” находятся на предпоследней ступени. Последнюю ступень образуют “произведения искусства” и “научные открытия”[273]. Обе ступени вместе образуют третий мир. Нетрудно предположить, что предпоследняя ступень отличается от последней тем, что те продукты человеческого духа, которые относятся к предпоследней ступени, не являются “результатом планомерного творчества”, тогда как продукты последней, наивысшей ступени — это планомерно созданные духовные артефакты. Как бы там ни было, оба вида продуктов относятся к третьему миру.

Важным свойством вещей, населяющих третий мир, является их (относительная) автономия, несмотря на то, что они продукты духа. “И все-таки они в известной сте-

[271] Popper, Eccles 1977/1982, c. 31.
[272] Popper, Eccles 1977/1982, c. 64.
[273] Popper, Eccles 1977/1982, c. 38.

пени автономны. (...) Можно сказать, что третий мир только вначале человеческое произведение и что теории, раз уж они появились, начинают вести собственную жизнь: они создают непредвиденные последствия, они создают новые проблемы"[274]. Хотя предметы третьего мира созданы человеком, их свойства могут быть "открыты" в них потом. Это, конечно, относится к языку, и многие лингвисты обязаны этому свойству правом на свое существование.

Другое важное свойство[275] предметов третьего мира — это то, что они "действительно" существуют: "Многие предметы третьего мира существуют в форме материальных тел и принадлежат, в известном смысле, как к первому, так и к третьему миру. (...) Книга — это физическая вещь и принадлежит, следовательно, к первому миру; но что делает ее значительным продуктом человеческого духа, так это ее *содержание*; то, что в различных изданиях остается неизменным. Это содержание относится к третьему миру. Один из моих основных тезисов состоит в том, что предметы третьего мира (...) могут быть реальными; не только в своих материализациях или воплощениях первого мира, но также и с точки зрения третьего мира"[276]. В качестве примера Поппер выбирает в диалоге с Экклесом симфонию Моцарта "Юпитер": она не идентична ни партитуре, ни внутренним акустическим переживаниям Моцарта при сочинении, ни отдельному исполнению, ни всем исполнениям вместе или классу всех возможных исполнений. "Это проистекает из того, что исполнения могут быть хорошими или не такими хорошими, но что ни одно ис-

---

[274] Popper, Eccles 1977/1982, с. 65.

[275] Я не уверен, следует ли называть свойством предмета то, что он является частью действительности.

[276] Popper, Eccles 1977/1982, с. 64.

полнение нельзя назвать действительно идеальным"[277]. Я так подробно разбираю этот пример, потому что на нем по аналогии можно кое-что узнать о способе существования языка. Симфония "Юпитер" как предмет третьего мира является "р е а л ь н ы м и д е а л ь н ы м п р е д м е т о м (разрядка моя — Р.К.), который существует, но которого нигде нет и существование которого является своего рода потенциальностью его повторных интерпретаций духом человека"[277].

Что означает для Поппера "реальный"? Реально нечто, что обладает воздействием: "Мы воспринимаем вещи как 'реальные', если они причинно воздействуют на действительно материальные вещи или если они находятся с ними во взаимодействии"[278]. В другом месте он пишет: "(...) взаимодействие с первым миром — даже непрямое взаимодействие — я считаю решающим аргументом для того, чтобы называть вещь реальной"[279]. В этом смысле язык в гипостазирующем смысле тоже является реальным. "Предметы третьего мира абстрактны, но (...) тем не менее реальны, так как они являются мощными инструментами для изменения первого мира". Предметы третьего мира — и об этом говорит уже понятие инструмента — не оказывают прямого воздействия на физический мир, это происходит только путем "вмешательства тех, кто их создает, в особенности за счет того, что их понимают и учитывают — это процесс (...), в котором вступают во взаимодействие второй и третий миры"[280]. Язык — инструмент третьего

---

[277] Popper, Eccles 1977/1982, с. 534.

[278] Popper, Eccles 1977/1982, с. 29 и далее.

[279] Popper, Eccles 1977/1982, с. 64. (Наличие и отсутствие кавычек при слове "реальный" в обоих последних цитатах соответствует оригиналу).

[280] Popper, Eccles 1977/1982, с. 74.

мира для изменения первого мира посредством второго мира. “Единственным инструментом, имеющим, вероятно, генетические основания, является язык”[281].

Человек как физический предмет, несомненно, является частью первого мира, его дух и сознание — части второго мира. Вид воздействия, которое оказывает третий мир на человека как часть первого и второго мира, заслуживает особого внимания: человек не рождается личностью. “Мне кажется особенно важным, что мы не рождаемся личностью и должны учиться, чтобы ею стать; да, сначала мы должны учиться быть личностью. В этом процессе учения мы познаем что-то о первом мире, о втором мире, но прежде всего о третьем мире”[282]. Личность “закреплена” в третьем мире и тем самым в языке[283]. “Я описал третий мир как нечто состоящее из творений человеческого духа, или сознания. Но человеческое сознание в свою очередь реагирует на эти творения: существует обратная связь”[284]. Мы пользователи, изменители и создатели (в правильно понятом смысле) языка. “Я считаю значительным социальный характер языка и факт, что мы обязаны своим статусом личности языку и тем самым другим людям”[284].

Я достаточно подробно изложил теорию трех миров, и особенно третьего, потому что я думаю, что нужно в какой-то степени понимать ее внутренние связи, если хочешь заимствовать ее термины. Всегда существует опасность, что термины станут расхожими, если вырвать их из определяющих их теоретических связей, чтобы использовать для других теорий.

---

[281] Popper, Eccles 1977/1982, с. 75 и далее.
[282] Popper, Eccles 1977/1982, с. 144.
[283] Popper, /Eccles 1977/1982, с. 183.
[284] Popper, Eccles 1977/1982, с. 184.

В чем привлекательность такой концепции для историка языка или теоретика языковых изменений? В ее способности быть автономной и реальной. Теория третьего мира создает философию, которая делает возможным понимание такого абстрактного, идеального и гипостазированного предмета, как язык (достаточно вспомнить симфонию "Юпитер"), во-первых, как (относительно) автономного, а во-вторых, как реально существующего, имеющего к тому же решающее преимущество сравнительно с миром платоновских идей: "У моего третьего мира (есть) история; это не характерно для платоновского мира"[285].

Рассмотрим заимствование концепта третьего мира Роджером Лэссом. Он полагает, что, как историк языка, намеревающийся объяснить изменения, стоит перед выбором рассматривать изменения либо с точки зрения говорящего, либо с точки зрения Бога ("god's-eye view"). Первую он считает "в корне неверной"[286] и выбирает вторую. (Замечу между прочим: лэссовская точка зрения Бога — это не точка зрения всезнайки, который мог бы заглядывать и в сердца говорящих!)

Лэсс аргументирует следующим образом: "**Языки — это объекты, существующие во времени,** а не вневременные или одномоментные тела индивидуального знания. Поэтому они не могут быть вразумительно описаны — даже в отдельных пунктах — без учета обоих моментов: их прошлого и их будущего"[287]. Даже дескриптивист, интересующийся исключительно синхронным описанием, должен бросить взгляд на историю, если он хочет, чтобы

[285] Popper, Eccles 1977/1982, с. 534.
[286] Lass 1984, с. 4.
[287] Lass 1984, с. 4 и далее (выделено Лэссом).

описание было убедительным и полным. “Существование языков в некотором смысле не зависит от существования их носителей; это означает, что у них есть **традиции**, говоря точнее, они и **являются** традициями”[288].

Тем не менее, говорящий на каком-либо языке обычно не располагает историческими знаниями об этом языке. Из этого следует, ...“что где бы мы ни старались искать причину объяснения или даже первичные онтологические характеристики, содержимое головы отдельного говорящего не будет для этого подходящим местом”[289]. Поскольку отдельному говорящему не хватает общего обзора, “испытуемые (...) не могут служить источниками информации о том, что фактически будет означать их поведение в далекой перспективе”[290].

Со всем этим я могу согласиться. Вспомним простой пример феномена третьего вида, так называемую “пробку из ничего” (гл. 4.1.). Такая пробка возникает, потому что водитель, едущий за кем-то, реагирует на торможение водителя, едущего впереди него, по правилу: “Лучше затормозить немножко посильнее, чем недостаточно сильно”. Таким образом от машины к машине скорость уменьшается и сводится на нет. На этом примере можно отчетливо увидеть верность теории Лэсса: такая пробка — это реальное относительно автономное образование, которое нельзя объяснить, если ограничиться знанием и перспективой, которой обладают участники. Те, кто попал в пробку, ничего не знают о ее происхождении, а те, кто создал ее, не знают, что они создали пробку. Каждому из них для объяснения,

---

[288] Lass 1984, с. 5 (выделено Лэссом).
[289] Lass 1987, с. 170.
[290] Lass 1984, с. 8.

да даже для приемлемого описания не хватает необходимой “исторической” перспективы.

Что же дает “перспектива от Бога” (“the God’s-eye view”)? Я не знаю, какую религию исповедует Лэсс. Всемогущий видит, как говорится, все; но ученый, кажется, не его имеет в виду. По-видимому, он скорее имеет в виду взгляд “сверху”, который исключает доступ к взгляду индивидуума; может быть, взгляд с вертолета полицейского, который наблюдает за движением и у которого отсутствует дар сострадания. Однако его информации о том, что происходит “там внизу”, по всей видимости, не хватит. Чтобы понять, что происходит, он должен сделать то, что обычно делают исследователи движения: он должен соединить взгляд сверху с обзором, доступным отдельным участникам, и соединить их каким-то отношением. Тогда он признает пробку эпифеноменом стремления к безопасности отдельных водителей, а его объяснение будет объяснением невидимой руки.

Из своего корректного анализа Роджер Лэсс делает неприемлемый вывод: “В чем мы нуждаемся, так это во вразумительном подходе к ‘онтологии чистой формы’, или к ‘теории истории объектов третьего мира’” [291].

Я не вполне уверен в смысле “или” в этом высказывании. Должно ли оно намекать, что существуют два различных подхода: либо онтология чистой формы, либо теория истории предметов третьего мира? Или второе служит объяснительной перифразой первого? Я полагаю, что это высказывание следует понимать как перифразу. Но тогда, по моему разумению, интерпретация того, что считать третьим миром, будет слишком внешней. Теория истории предметов третьего мира должна была бы охватить тот са-

[291] Lass 1987, с. 170.

мый процесс с обратной связью, который имеет место между духом и сознанием индивидуума и его продуктами. Мое Я — это продукт языка, а я (вместе с бесчисленным множеством других) — его “создатель”. Но создание такой теории, учитывающей этот процесс с обратной связью, было бы чем-то совсем другим, а не созданием онтологии чистой формы. Такая теория должна была как раз соединить вид “сверху” со взглядом, ограниченным перспективой каждого из участников.

Естественные языки — это феномены третьего вида, и они являются предметами третьего мира. Однако множество возможных предметов третьего мира не полностью совпадает со множеством возможных феноменов третьего вида. Обе категории образованы по совершенно различным критериям. Предметы попперовского третьего мира различаются (попросту говоря) по материалу, из которого они сделаны. Феномены первого, второго и третьего вида различаются (тоже попросту говоря) по способу их изготовления.

Предметы первого мира — это физические вещи, предметы второго — внутренние переживания, а предметы третьего — идеи, теории, гипотезы и тому подобное. Феномены первого вида существуют в природе, феномены второго — это планомерно изготовленные человеком продукты, а феномены третьего — это ненамеренные, причинные, накопленные последствия человеческих действий.

По материалу, из которого состоит предмет, нельзя заключить о способе его изготовления. Обратное заключение тоже невозможно.

Но определенные комбинации исключаются. Это видно по следующей матрице. Возможную комбинацию символизирует “+”, невозможную “-”.

	1-ый мир	2-ой мир	3-ий мир
Естественные феномены	+	+	-
Артефакты	+	+	+
Феномены 3-го вида	+	-	+

Матрица означает, что в третьем мире нет естественных феноменов, что артефакты существуют во всех трех мирах, что в первом мире есть все три вида феноменов и что феноменов третьего вида нет во втором мире.

Первая строка тривиальна. Так как третий мир — это мир продуктов человеческого духа, а естественные феномены по определению не являются человеческими продуктами, третий мир не может содержать естественных феноменов. Относительно второй строки можно сомневаться, могут ли существовать артефакты во втором мире, мире психических состояний. Я думаю, что люди в состоянии усилием воли вызывать в себе чувства, фантазии, ощущения и тому подобное и что можно рассматривать такие переживания как артефакты. Распределение значимостей в третьей строке вытекает из факта, что предметы второго мира как внутренние события обязательно имеют индивидуальную природу, тогда как феномены третьего вида порождаются действиями многих[292] .

Матрица проявляет два момента. То, что в ней нет идентичных колонок и идентичных строк, показывает, что каждая из обеих классифицирующих систем учитывает различия, которые не могут быть учтены другой. Это показывает, что одно не может заменить другое, что они дополняют друг друга.

Во-вторых, эта матрица кое-что дополняет к вопросу о приоритете И- и Э-феноменов (ср. гл. 5.4.). Я могу иметь

---

[292] Или, как пограничный случай, многими действиями одного.

теорию в голове и потом опубликовать ее — тем самым к предмету второго мира создается предмет третьего мира. Теория, так сказать, уходит вовне. Обратный путь тоже возможен и обычен. Я читаю книгу и усваиваю теорию — предмет третьего мира становится тем самым частью моего второго мира. Однако язык как феномен третьего вида не может возникнуть во мне , а затем “перейти вовне” и стать предметом третьего мира. Но я тем не менее могу частично усвоить феномен третьего вида: язык, религию, мораль и тому подобное. Это означает, что для языка в понимании Хомского, то есть для множества предложений, которые в состоянии породить или оценить как правильные И-грамматика личности, характерно, что внутреннее состояние как часть второго мира первично. От него производится множество определяемых И-грамматикой предложений, высказанных или нет. Язык, понимаемый как феномен третьего вида, первично является предметом третьего мира, который может быть частично усвоен человеком. Для каждого о т д е л ь н о г о человека верно то, что существование языка в этом смысле не зависит от того, говорит ли о н на этом языке. И-грамматикой реально существующего (не идеального) говорящего, который усвоил свой язык в реальном (не идеализированном) языковом коллективе, может быть в обычном случае частичное, модифицированное некоторой сверхчувствительностью, возможное благодаря врожденным способностям и принципам усвоение такого языка, который существует как феномен третьего вида в третьем мире.

6. Заключение

6.1. Языковые изменения как эволюционный процесс

В этой главе я хочу обратиться к вопросу, насколько развитие языка представляет собой случай (социо)культурной эволюции и каковы могут быть механизмы такого процесса. Под “развитием языка” здесь понимается не возникновение человеческого языка или языков из предшествующих животных форм, а историческое языковое развитие.

В этом смысле развитие языка, как я уже говорил в гл. 4.5., обязательно охватывает как статику, так и изменения. Традиционно историки языка настойчиво обращались преимущественно к теме изменений, видимо, молчаливо предполагая, что, “где ничего не изменилось, нечего и объяснять”. Вещественного доказательства такого предпочтения, по-моему, не существует. Так, например, факт, что западногерманская глагольная рамка (правило, по которому в главном предложении при наличии сложного сказуемого его спрягаемая часть стоит на втором месте, а остальные части должны стоять в конце предложения) сохранилась в немецком, нидерландском и африкаанс, заслуживает объяснения в неменьшей степени, чем факт, что в английском она полностью, а в еврейском почти полностью (за исключением предложений с предложными дополнениями) исчезла[293]. В области языка не работает правило: “Если мы

[293] Примером я обязан личному сообщению Роджера Лэсса; так же как и указанием на то, что и в немецком языке рамка склоняется к

ничего не делаем, все остается по-старому". Если мы "ничего не делаем", язык прекращает существование. Постарому же все остается тогда, когда мы не изменяем своих предпочтений. Сохраняем мы их или изменяем, в обоих случаях мы делаем (в большинстве своем неосознанно) выбор, который в одном случае не менее таинственен, чем в другом. "Возможно, — пишет биолог Джон Мейнард Смит, — поиски причин постоянства в делах человека могут оказаться такими же продуктивными, как и сравнимое с ними изучение гомеостазиса в биологии"[294]. Таким образом, "эволюция языка" должна охватывать как статику, так и изменения.

Применение слова "эволюция" для социальных и культурных областей упорно наталкивается на недоверие с двух различных сторон. С одной стороны, принципиально существует подозрение в протаскивании естествознания, с другой стороны, существует опасность быть задвинутым в ящик социал-дарвинизма. Если обратиться к истории лингвистики, то обе опасности не так уж безосновательны, поэтому, предупреждая возражения, я хочу кое-что кратко сказать по этому поводу.

Желание многих лингвистов быть причисленными к избранному кругу ученых-естественников побуждало некоторых из них пускаться в почти гротескные утверждения. Мы могли это видеть в гл. 3.2. на примерах Макса Мюллера или Августа Шлейхера. И сегодня, как показывают формулировки Хомского и его сторонников (ср. гл. 5.4.), это желание ощущается в не меньшей степени. Поэтому здесь следует со всей определенностью подчерк-

---

разрушению. Ср.: "Ich *habe* schon besseren Wein als diesen *getrunken* " и разговорное: "Ich *habe* schon besseren Wein *getrunken* als diesen".

[294] Maynard Smith 1972, с. 73.

нуть: если я представляю мнение о том, что теория развития языка является эволюционной теорией, то с этим ни в коей мере не связаны притязания на то, чтобы представлять естественно-научную теорию.

“Следует обратить внимание, например, на тот факт, — пишет Косериу, — что науки о человеке все еще не располагают собственным понятием, чтобы заменить тяжелое и неподходящее понятие *эволюции:* культурные объекты имеют за собой *историческое развитие,* а не ‘эволюцию’, как природные объекты”[295]. В другом месте он пишет: “Система не развивается в смысле ‘эволюции’, а *создается* говорящими в соответствии с необходимостью выражения”[296].

Действительно, что касается применения выражений “эволюция” и “генетический” по отношению к культурному объекту — языку, я нахожусь — с точки зрения Косериу тоже — в хорошем обществе: “Если представлять образование языка (...) процессуально, то, как всякому возникновению в природе, ему нужно приписывать эволюционную систему”[297]. Это пишет Вильгельм фон Гумбольдт; а в другом месте он подчеркивает, что “истинное определение (языка) (...) может быть только генетическим”[298].

Мои размышления не выходят за рамки социально-научной традиции, которая оказала влияние и на биологическую теорию. Эмиль Радль в своей “Истории биологических теорий” называет Бентама, Смита и Мальтуса предшественниками дарвинистской теории: “Это было новое великолепное представление п р и р о д н о г о х о з я й -

[295] Coseriu 1958/1974, с. 154, прим. 7.
[296] Coseriu 1958/1974, с. 246.
[297] Von Humboldt 1836/1907, с. 149.
[298] Von Humboldt 1836/1907, с. 46.

с т в а , в котором растения и животные должны иметь значимость (...) членов общества, выступать гражданами природы (...). Было бы трудно понять, каким образом Дарвин мог бы так сильно повлиять на теоретиков социологии, если не знать, что его учение само представляет с о ц и о л о г и ю п р и р о д ы , что Дарвин перенес на природу господствовавший в его время идеал английского государства"[299]. "Так же как Адам Смит был последним философом-моралистом и первым экономистом, Дарвин был последним экономистом и первым биологом", — писал в 1899 году Саймон Н. Пэттон[300].

Таким образом, мы добрались до второй опасности — подозрения в социал-дарвинизме. Те социологи, которые пытались перенести теорию Дарвина на общество, были одновременно плохими биологами и плохими социологами. Они поставили дарвиновские метафоры о "борьбе за существование" и "выживании самого приспособленного" на службу научно приукрашенных оправданий расизма и империализма. Это удалось им в значительной степени благодаря тому, что они буквально использовали метафору борьбы, чтобы объявить войну и угнетение естественно необходимой закономерностью, а тезис о "выживании самого приспособленного" интерпретировать как "выживание сильнейшего". Что из этого вышло, читается, например, так:

"Устойчиво хорошее развивается в этом мире только через борьбу и кровопролитие. Пока в этом мире существует несправедливость, меч, ружье и торпедная лодка будут частью его эволюционного механизма, благословенной, как и всякая другая относящаяся к нему часть". Или:

---

[299] Rádl 1909, с. 128. (Курсив в оригинале).
[300] Цит. по: von Hayek 1983, с. 172.

“Природа (...) хочет, чтобы господствовала только высшая раса (...). Это закон природы”[301].

“Ученые-социологи, — пишет фон Хайек, — которым в XIX веке Дарвин был нужен, чтобы выучить то, что им следовало бы выучить от своих предшественников, сослужили своим ‘социальным дарвинизмом’ плохую службу прогрессу в теории культурной эволюции”[302]. Возможно, все-таки, что фон Хайек ошибается относительно социал-дарвинистов, приписывая им желание поучиться. Для них вопрос был не в том, чтобы продвинуть теорию культурной эволюции, а скорее в том, чтобы идеологически оправдать и поддержать колониальную и расовую политику.

Насколько мне известно, социал-дарвинизм не сыграл заметной роли в языкознании. Хотя и Макс Мюллер применяет метафору о борьбе за существование, но без социал-дарвинистских импликаций: “В каждом языке постоянно идет борьба за существование между словами и грамматическими формами. Более хорошие, краткие и легкие формы постоянно выигрывают, и своей победой они обязаны присущей им собственной силе”[303]. Эта метафора с однозначным социал-дарвинистским привкусом находит применение у Августа Шлейхера.

Ему кажется, что он может наблюдать, что “языковые семьи гибнут, а за счет этого распространяются другие”, что “в борьбе языков за существование (...) победителями оказываются прежде всего языки индогерманского происхождения” и что среди языков тоже неоспоримым является

---

[301] Первая цитата принадлежит некоему сэру Натаниэлю Барнеби (1904), вторая — Роланду Терльмару (1907); обе цит. по: Koch 1973, с. 96. О социал-дарвинизме см. также: Dobzhansky 1962/1965.

[302] Von Hayek 1983, с. 173.

[303] Макс Мюллер в “Nature” от 6 янв. 1870, с. 257. Цит. по: Darwin 1871/1893, с. 116.

“сохранение более высокоразвитых организмов в борьбе за существование”[304].

В своей попытке осмыслить языковое развитие как эволюционный процесс я вовсе не стремлюсь перенести естественно-научный процесс на культурный предмет. Более того, моя попытка обусловлена стремлением применить к рассмотрению языка неподдельную культурно-научную модель, — модель невидимой руки. От теории невидимой руки до концепта эволюции — только маленький шаг как в научно-историческом, так и в системном смысле. Теория эволюции живой природы должна служить нам только эвристической моделью, если мы полагаемся, как пишут Жерар, Клакхон и Рапопорт в сочинении “Биологическая и культурная эволюция”, “на плодотворность должным образом контролируемого аналогического мышления”[305].

Какие условия должны быть выполнены в историческом процессе развития, чтобы его по праву можно было назвать эволюционным? Их три.

(i) Процесс **не** может быть **телеологическим**; это означает, что речь не может идти о процессе, который контролируется и проводится для достижения определенной, поставленной заранее цели. Это не исключает того, что эволюционные процессы могут иметь определенное направление. Но они ни в коем случае не должны иметь определенного направления, даже в области живой природы[306]. Проведение орфографической реформы, даже если оно простирается на биологический промежуток времени, не ста-

[304] Schleicher 1863, с. 28, с. 30 и далее.
[305] Gerard, Kluckhohn, Rapoport 1956, с. 14.
[306] Maynard Smith 1972, с. 92 и далее.

нет тем самым эволюционным процессом (даже если в его рамках могут иметь место эволюционные подпроцессы).

(ii) Это должен быть **кумулятивный** процесс. “Под эволюцией, — пишут Жерар, Клакхон и Рапопорт, — мы понимаем кумулятивный процесс небольшого изменения”[307]. Это означает, что в обычном случае речь идет о процессе, который производится популяцией, а не отдельным индивидуумом. Я говорю “в обычном случае”, так как есть случаи пограничные. Мастерок каменщика со временем получает очень специфическую форму за счет того, что он постоянно используется одним и тем же лицом с его специфическими двигательными привычками. Этот процесс формирования кумулятивен и не телеологичен. Является ли он эволюционным? Или развитие моей индивидуальной компетенции во взрослой жизни, является ли оно эволюционным процессом? Насколько я понимаю, было бы терминологическим произволом исключать процессы, касающиеся одного человека, хотя такие процессы не образуют, конечно, эпицентра того, что хотелось бы называть эволюционным процессом.

(iii) Динамика процесса должна покоиться на взаимодействии **вариации и селекции**. Так бывает (если отвлечься от случайных эффектов) тогда, когда, говоря очень обобщенно, есть альтернатива, имеющая различные свойства в зависимости от определенной цели (или задачи) и определенных обстоятельств (или от определенных экологических условий).

---

[307] Gerard, Kluckhohn, Rapoport 1956, с. 15.

Рассмотрим — очень упрощенно — динамику эволюционного процесса на примере биологической эволюции. Через “ошибки копирования” в наследственности возникает мутация. Возникающий посредством мутации новый тип называется мутантом. Цель живого существа состоит в том, чтобы производить больше живых существ своего типа. Если мутация влияет так, что новый мутант в данном окружающем мире способен лучше выполнять эту цель, чем уже существующие типы, то следует ожидать, что относительная часть нового типа в популяции будет возрастать, то есть повысится частотность нового типа. Относительное число потомков, которым тип представлен в следующем поколении, можно назвать его “приспособляемостью” (“fitness”), его биологической пригодностью[308]. Определение понятия “fitness”, кажется, является среди биологов спорным[309]. Важно, что “fitness” не имеет ничего общего с силой или выживаемостью какого-то индивидуума. Эта статистическая значимость отражает вероятность размножения индивидуума определенного типа в определенном экологическом окружении. “Fitness W_A (некоторого типа А — Р.К.) (...) можно определить только для частного окружения”[310]. Так например, при определенных условиях сильная близорукость повышает биологическую приспособляемость мужчин, так как она освобождает их от призыва в армию[311].

Обратимся теперь после всех этих общих характеристик к культурным объектам, которые я назвал феномена-

---

[308] Ср. Cavalli-Sforza, 1971, с. 535 и далее.
[309] Ср. Huxley 1963, с. XVIII.
[310] Maynard Smith 1972, с. 97.
[311] Maynard Smith 1972, с. 84.

ми третьего вида, особенно к языку, и посмотрим, выполняются ли названные условия и каким образом.

К условию (i).

Развитие языка однозначно не телеологично; оно не служит достижению заранее определенной цели. Об этом было достаточно отчетливо сказано в связи с так называемым тезисом о финальности (ср. гл. 4.3.). Это одна из причин, почему его нельзя прогнозировать. Однако языковое развитие частично направлено (ср. гл. 5.1.), поэтому в некоторых областях возможны экстраполяции тенденций.

К условию (ii).

Развитие языка — однозначно кумулятивный процесс. Быть кумулятивным процессом — это как раз решающая характеристика феноменов третьего вида. Об этом тоже уже достаточно говорилось (ср. гл. 4.1., 4.2.).

К условию (iii).

Менее очевиден случай с третьим условием. В литературе немало замечаний о том, что и в языке действует механизм варьирования и селекции, например уже упоминавшийся пассаж из Макса Мюллера от 1870 года: “В каждом языке постоянно идет борьба за существование между словами и грамматическими формами. Более хорошие, краткие и легкие формы постоянно выигрывают, и своей победой они обязаны присущей им собственной силе”[312]. Герман Пауль писал в 1880 году в “Принципах истории языка”: “Вообще говоря, цель играет в развитии языкового узуса ту же роль, которую ей отвел Дарвин в развитии ор-

[312] Max Müller in “Nature” от 6 янв. 1870. Цит. по: Darwin 1981/1893, с. 116.

ганической природы: большая или меньшая целесообразность возникших образований определяет, сохранятся они или погибнут"[313].

Известный современный биолог и теоретик эволюции Ричард Докинс считает: "Языки однозначно подлежат эволюции"[314]. В книге "Эгоистический ген" он далеко зашел в аналогиях между биологической и культурной эволюцией и с этой целью изобрел даже новое (может быть, понимаемое не вполне серьезно) соответствие для гена в области культуры — мему. Мемы, как и гены, воспроизводятся с высокой точностью копирования. "Точность копирования заменяет выражение 'долгожительство в образе копий'"[315]. Мемы — это, так сказать, единицы памяти, величина которых как раз такова, что они "блоками" могут переноситься из одной памяти в другую. "Примеры мем — это мелодии, мысли, лозунги, мода на одежду, способ делать горшки или строить арки"[316]. Языковые единицы, такие, как слова, идиомы, способ артикуляции чего-либо или образования множественного числа — это, конечно, тоже мемы.

"Так же, как гены размножаются в генофонде, перемещаясь с помощью сперматозоидов или яиц от тела к телу, так и мемы распространяются в мемофонде, перепрыгивая от мозга к мозгу с помощью процесса, который в общем смысле можно назвать имитацией"[317].

Как и гены, некоторые мемы тоже собираются в совместимые мемокомплексы, чтобы повысить выживаемость или заразительность. Как мема "Бог", так и мема

[313] Paul 1880/1920, с. 32.
[314] Dawkins 1986/1987, с. 260.
[315] Dawkins 1976/1978, с. 34.
[316] Dawkins 1976/1978, с. 227.
[317] Dawkins 1976/1978, с. 227.

“адский огонь” были бы, каждая сама по себе, далеко не такими успешными, если бы они не объединились и не образовали мемокомплекс вместе с мемой “вера”[318].

Мемы конкурируют друг с другом. Например, борются за место, где происходит накопление и которого всегда не хватает. Как и среди генов, “среди мем тоже есть такие, которым в мемофонде успех сопутствует больше, чем другим. Это соответствует естественному отбору”[319]. “Как только возникли мемы, копирующие сами себя, начался их собственный (...) вид эволюции”[320].

Здесь я хочу прервать изложение докинсовской аналогии и пофантазировать немного сам, а именно ближе к языку. Но одно следует заметить заранее. Слова и формы Макса Мюллера, которые борются за существование, и мемы Ричарда Докинса, конкурирующие за более высокую частотность в мемофонде, имеют одну общую черту: и те, и другие стилизованы под действующие лица.

Однако пофантазируем дальше. По аналогии с генофондом — множеством генов совокупной популяции — мы могли бы представить себе языковой мемофонд. Это было бы множество всех языковых мем языкового сообщества, то есть всех языковых единиц, значимость которых как раз достаточна для того, чтобы попасть из одной индивидуальной компетенции в другую. При этом речь идет об определенном виде инфекции[321]. Инфицируются через употребление и восприятие, то есть через учение. В отличие от генов, которые остаются в теле в течение всей его жизни, языковая мема может снова “покинуть” компе-

318 Dawkins 1976/1978, с. 233.

319 Dawkins 1976/1978, с. 229.

320 Dawkins 1976/1978, с. 229.

321 Cavalli-Sforza 1971, с. 537; ср. также de Saussure 1916/1967, с. 248: “заразительное прикосновение”.

тенцию, забыться. У генов есть аллеломорфы. Где есть ген для голубых глаз, не может быть гена для карих глаз. Аллеломорфы соперничают за одно и то же место в хромосоме. У языковых мем тоже есть аллеломорфы. Они соперничают за "место" в речи. Их можно было бы назвать альтернативами выражения, альтернативными выражениями с одинаковой функцией. Например, отношение обладания, существующее между моей сестрой и ее велосипедом, в моей языковой компетенции может быть выражено по меньшей мере пятью способами: через саксонский генитив (*meiner Schwester Fahrrad*), через постпозитивное генитивное определение (*das Fahrrad meiner Schwester*), через предложную фразу (*das Fahrrad von meiner Schwester*), через дательный принадлежности (*meiner Schwester ihr Fahrrad*), а также через относительное придаточное предложение (*das Fahrrad, das meiner Schwester gehört*). Эти пять аллеломорфов конкурируют за "место" в речи, за выражение функции обладания. Грамматические формы (*Kommata vs. Kommas*) или варианты произношения [ki:na] или [çi:na] тоже конкурируют друг с другом и являются тем самым аллеломорфами. Синонимы являются аллеломорфами в самом истинном смысле.

Мне представляется, что загвоздка в докинсовской аналогии состоит в том, что его "мемы, копирующие сами себя", неправдоподобно активны, что они рассматриваются как ауторепродукторы. Этим своим взглядом он мог бы сослаться на знаменитого предшественника: "Передаваемая идея конституируется как автономная сущность (...), способная к самосохранению, росту, усложнению; тем самым она является объектом селективного процесса", — писал Жак Моно[322]. Это современная форма культурного

[322] Monod 1969, с. 16. Цит. по: Toulmin 1972, с. 319.

витализма. Гены ведь действительно что-то делают. Они действительно ауторепродукторы. Они собираются вместе в тела (растений, животных и людей), чтобы пользоваться ими для репликации. Ген не "хочет" ничего иного, чем быть как можно чаще представленным в генофонде. Этого он достигает, способствуя строительству тела, которое по возможности "более приспособляемо", чем другие тела, не содержащие этого гена. "Хороший ген" делает "множимые тела"[323].

Мемы, напротив, не пользуются мозгом, чтобы воспроизводить себя. В этой аналогии отношение производителя и продукта поставлено с ног на голову. Мы продукты наших генов, но производители наших мем. Здесь можно было бы возразить: но не всех же! Большую часть из того, что у тебя в голове, ты получил от других. Возражение корректно. Верно и то, что я в большинстве случаев даже не могу защититься от "вторжения" какой-то мемы. В этих пределах верна и метафора инфекции. Я знаю слова или теории, которые я вовсе не хотел учить. Однако непрошеные гости не вынуждают меня способствовать их размножению. Для различения активного и пассивного обладания в природе нет соответствия. Языковая мема не пользуется человеком в целях успешного воспроизводства (как это делают гены), но люди пользуются языковыми мемами с целью успешной коммуникации или, говоря более обобщенно, с целью социального успеха.

Что такое хорошая языковая мема? На этот вопрос не так легко ответить, как на вопрос о хорошем гене. На это есть две причины. Во-первых, асимметрия актива и пассива. Для меня может оказаться очень полезным знать языковые формы, которые я сам никогда бы не применил, да-

[323] Dawkins 1976/1978, с. 102.

же такие, применение которых мне противно. Понимать больше лучше, чем понимать меньше. В этом аспекте моя языковая компетенция никогда не может быть достаточной. С точки зрения обладателя, каждая мема хороша. С точки зрения пользователя, дело выглядит по-другому. Здесь возникает вторая причина. Хорошие языковые мемы — это те, употребление которых ведет к желаемому успеху моих коммуникативных действий. Кто что считает успехом, как мы видели (в гл. 4.5.), сильно различается. Для гена важна только высокая частотность. Но она-то как раз и нежелательна при употреблении языковой единицы. Социальный успех временами может соотноситься со степенью оригинальности языковых средств. Если Докинс полагает, что и среди мем некоторые “в мемофонде успешнее других” и что “это (...) (соответствует) естественному отбору”, то, по меньшей мере в отношении языковой эволюции, он слишком упрощает дело.

Механизм селекции охватывает два уровня, которые находятся в отношении взаимной связи. Чтобы представить этот механизм, мне нужно немножко отвлечься в сторону.

Каждый человек, владеющий языком, обладает определенной компетенцией. Я имею в виду не идеальную компетенцию, о которой говорят лингвисты, когда они хотят обозначить предмет грамматики, а реально существующую компетенцию. Назовем ее, как я это уже сделал, индивидуальной компетенцией. Она охватывает И-грамматику Хомского, но сверх того еще много другого: стратегии, правила, а прежде всего еще и предположения об индивидуальной компетенции других. В том виде, как мы с ней познакомились в связи с правилом Гумбольдта, она содержит ожидание поведения и ожидание ожиданий. Не существует двух идентичных друг другу индивидуаль-

ных компетенций. Например, нет двух таких людей, у которых в точности один и тот же словарь. Наша компетенция не создана так, чтобы быть средством, подходящим для определенной коммуникативной цели всем адресатам и во всех ситуациях. В соответствии с этим утверждением известная фирма по производству автомобильных шин сделала однажды такую рекламу: “Нет шин для любой погоды, но для любой погоды есть шины”. Mutatis mutandis — это верно и для нашей языковой компетенции: нет языкового средства для любой ситуации, но для каждой ситуации есть средство (при условии, что компетенция достаточно богата).

Индивидуальная компетенция человека имеет характер гипотезы[324]. Моя компетенция — это моя гипотеза о том, как в данной ситуации я могу сделать так, чтобы мой партнер по разговору поверил в то, во что бы я хотел, чтобы он поверил, сделал то, что бы я хотел, чтобы он сделал, или ощутил то, что бы я хотел, чтобы он ощутил.

Факт, что у говорящих нет теоретических знаний о своем языке, хорошо известен. Например, мы едва ли способны сформулировать правила употребления выражений, которые мы применяем изо дня в день. (Если бы Вас попросили сформулировать правила употребления слова “голова”, Вы бы, вероятно, подумали не о том, что нельзя сказать “У меня в голове зубы” или “У меня на голове нос”, а что можно “У меня на голове уши”). Асимметрия нашего языкового знания непосредственно связана с его гипотетическим характером. Мы, так сказать, не в состоянии читать “в обратном порядке” свои гипотезы. Для каждой данной ситуации применения языка у нас готова гипотеза о том, какое языковое средство является подходящим и предпо-

[324] Ср. Mauthner 1901/1982, с. 6.

ложительно успешным; а вот для данного языкового средства у нас нет готовой гипотезы, в каких ситуациях можно применить его подходящим образом.

Индивидуальная компетенция — это проблемно ориентированная гипотеза; она не ориентирована на правила. (Одна из задач лингвиста в том и состоит, чтобы вывести правило из гипотезы).

Из гипотетического характера моей индивидуальной компетенции следует экспериментальный характер моих коммуникативных начинаний. Всегда, когда я вступаю с кем-то в коммуникативный контакт, я провожу маленький социальный эксперимент. Как мы видели в главе 4.5., при коммуникации мы в большинстве случаев одновременно преследуем несколько целей, из которых быть понятым — только одна среди многих. Все цели достигаются, если кое-что совпадает. Говорящий должен правильно оценить ситуацию, языкового партнера, его индивидуальную компетенцию, его фоновые знания, а также ожидания относительно самого говорящего; наконец, он должен выбрать адекватные языковые средства. Во все эти "калькуляции" могут вкрадываться неправильные оценки.

В повседневной коммуникации мы, как правило, не осознаем, что мы постоянно проводим маленькие эксперименты. Это происходит потому, что большинство из них заканчивается для нас успешно, а наша индивидуальная компетенция является гипотезой, хорошо выверенной для повседневных ситуаций. Но есть ситуации, где мы остро осознаем риск частичного или полного провала: вести разговор о приеме на работу, заговорить в кафе с женщиной, вести разговор о продаже или же пользоваться иностранным языком.

Тезис, что индивидуальная компетенция имеет гипотетический, а ее употребление экспериментальный харак-

тер, — замечу между прочим — вовсе не обязывает использовать для усвоения языка метод заучивания теории. Тезис, к примеру, ничего не говорит о том, насколько велика часть гипотезы, приобретенная филогенетически, и тем самым, насколько велика часть, данная онтогенетически, и какова онтогенетически приобретенная часть.

Эксперименты, которые удаются, подтверждают гипотезу; те же, которые удаются только частично или совсем не удаются, заставляют умных экспериментаторов модифицировать свои гипотезы.

Вот мы опять и добрались до механизма вариации и селекции в языке.

Возникают два принципиальных вопроса: об уровне, где происходит селекция, и об ответственной за нее инстанции.

Биологи не совсем сходятся во мнениях о том, на каком уровне происходит селекция, на уровне гена, индивидуума, группы или вида. Для языковой эволюции, по-моему, возможно рассматривать два уровня: уровень индивидуума или уровень языковой единицы. (Представленный Шлейхером взгляд, что языки и даже языковые семьи ведут друг против друга "борьбу за существование" и — как же может быть по-другому — индоевропейские языки одерживают победу, не важно, на основе каких селекционных критериев, — этот взгляд не принимается сегодня больше всерьез).

Что касается ответственных за селекцию инстанций, то здесь, кажется, среди биологов больше единства. В биологии по инстанции, ответственной за селекцию, различают (в различной терминологии) два селективных типа: фенотипическая (или "естественная") селекция и генотипиче-

ская (или "репродуктивная") селекция[325]. Инстанция, ответственная за выбор фенотипической селекции, — это окружающая среда; она вызывает приспособление к экологическим условиям. Инстанция, ответственная за генотипическую селекцию, — это половые партнеры и партнерши. У обеих селекций могут быть тенденции, противоречащие друг другу. Олень, вероятно, был бы лучше приспособлен к жизни среди кустов, не имей он сбрасываемых рогов. Но это нисколько не поможет: у безрогого оленя не будет шансов передать по наследству свой хорошо адаптированный образ.

В области человеческой культуры существуют аналогичные селективные типы. (Каблуками-гвоздиками, мы, кажется, целиком обязаны предвосхитившей их репродуктивной селекции). Для языковой эволюции я не могу найти причины различения обоих э т и х типов.

Напротив того, на мой взгляд, нужно различать два других селективных типа. Одну селекцию, приходящую извне, и другую, предпринимаемую самим говорящим. Они затрагивают различные уровни селекции, но связаны друг с другом[326].

Назовем селекцию извне "социальной селекцией", а селекцию изнутри "лингвистической селекцией". Социальная селекция касается личности, лингвистическая селекция — языковых единиц. Обе тесно связаны между собой.

Рассмотрим один пример. Эмиль подает мастеру Мюллеру заявление с просьбой принять его учеником. Эмиль сформулирует свое заявление так хорошо, как он может. Он, вероятно, знает, что от языковой формы заявления кое-

---

[325] См. Huxley 1963, с. XIX и далее.
[326] Ср. Toulmin 1972/1978, с. 394 и далее.

что зависит. Таким образом, он постарается так выбрать языковые средства, чтобы, как он думает, произвести на мастера Мюллера впечатление, что он и есть наилучший кандидат. Это означает, что Эмиль антиципирует социальную селекцию, которую следует ожидать, и на базе этой антиципации произведет лингвистическую селекцию своих языковых средств. Из альтернативных выражений, находящихся в его распоряжении благодаря его индивидуальной компетенции, он выберет такие, от которых он ожидает желаемого успеха. Это его коммуникативный эксперимент.

Предположим, эксперимент не удается; Эмиль не получает места. Если он умный экспериментатор, он вслед за этим еще раз посмотрит на свое заявление. От мастера Мюллера он не сможет ожидать помощи. Его отказ касается личности, а не языковых средств. Язык рассматривается в общем как часть личности. Диагноз о провале эксперимента Эмилю не выставляется. Он должен поставить его сам и начать новый эксперимент, модифицированный на основе своего диагноза.

Мы находимся в постоянной селективной спирали; лингвистическая селекция — социальная селекция — диагноз — лингвистическая селекция и т.д. Что делает этот способ таким рискованным? То, что мы, во-первых, никогда не знаем, будут ли в следующий раз достаточно похожими экологические условия, а во-вторых, никогда не можем быть уверенными, правилен ли наш диагноз. Я бы не был уверен, даже если бы диагноз поставил мой адресат. Ведь и он мог бы ошибиться.

Существует еще один более обширный и более опосредованный круг взаимных зависимостей — вклад Эмиля в процесс “невидимой руки”! Ведь и Эмиль своим заявлением вносит свою крупицу в сохранение и модификацию

существующих конвенций. Возможно, Эмиль нарушил какие-то конвенции, которые мастер рассматривал как совершенно необходимые, и потому не получил работу. Но если его нарушение правил было не таким уж вопиющим, а, например, допустимым в разговорной речи, но не в письменной, тогда может оказаться, что он своим нарушением нормы сделал вклад в процесс невидимой руки, который приведет к новой конвенции. Таким образом, мы постоянно заняты тем, что участвуем в утверждении норм, от которых когда-нибудь позднее можем потерпеть фиаско.

6.2. Резюме и обоснование адекватности объяснения

Работа представляет собой попытку “призвать на помощь истории языка науку, которая занимается общими условиями жизни исторически развивающегося объекта”[327]. Космология языка — это условие, обеспечивающее возможность написать и объяснить его историю.

Эта работа написана с целью представить картину языка, для которой его “постоянное изменение”[328] не является чем-то внешним. С этим ни в коем случае не связан намного более сильный тезис о том, что постоянные изменения являются существенным и необходимым свойством естественных языков (ср. гл. 1.2.). Этот тезис означал бы: существует по меньшей мере одно свойство (или пучок свойств) естественных языков, из которого (которых) с логической необходимостью следует их постоянное изменение. Такое свойство мне неизвестно. Выяснилось, что существуют особенности применения языка, из которых не-

[327] Paul 1880/1920, с. 1.
[328] Paul 1910, с. 369.

избежно следует его постоянное изменение (ср. гл. 5.1.). Для тезиса, что эти особенности могут быть сведены к существенным свойствам человеческой природы, тоже еще нужно бы найти аргументы.

“Непрерывно течет поток языка”, — пишет де Соссюр[329]. Но с доказательством необходимости этого и ему сложно: “На чем, однако, основана необходимость изменения?” — спрашивает он и дает беспомощный ответ: “Время изменяет все; нет причины, почему бы язык уклонился от этого общего закона”[330].

Даже если мы должны будем, не имея достаточных аргументов, оставить открытым вопрос о необходимости языковых изменений, то все-таки останется непреложным, что языковые изменения ф а к т и ч е с к и отмечаются везде и во все времена во всех естественных языках. Считать эту гипотезу фактом подталкивает отсутствие опровергающего примера. Кто хочет ее принять, тому придется развить такое понимание языка, которому этот факт не будет чуждым или внешним, например, хомскианскому пониманию языка и лингвистики (ср. гл. 5.4.), в рамках которого вопрос о языковых изменениях не может быть даже разумно сформулирован. И для классически структуралистского понимания языка изменения являются чем-то сугубо внешним, чем-то, что имеет дело с нарушениями. Показательна формулировка де Соссюра: “Язык (...) п р е т е р п е в а е т (...) изменения”[331]. Кто рассматривает язык исключительно как систему символов, которая отражает мир и служит для того, чтобы обмениваться идеями и мыслями, тот будет склонен видеть в языковых изменени-

[329] De Saussure 1916/1967, с. 167.
[330] De Saussure 1916/1967, с. 90 и далее (ср. также с. 87).
[331] De Saussure 1916/1967, с. 121 (выделено мной — Р.К.).

ях, главным образом, механизм, предназначенный для того, чтобы разглаживать внутренние слабости системы (такие, как часто цитируемые конфликты омонимов) или снова приспосабливать отражение — “язык” к первоначальной картине — “мир”, когда эта картина обогнала отражение.

Мы видели (гл. 1.1., 5.1.), что изменения мира не являются ни необходимыми, ни достаточными для языковых изменений. Языковые изменения — это, скорее, необходимые следствия нашего способа употреблять язык (причем мы, как было сказано, не хотели бы дискутировать вопрос о том, неизбежно ли следует из человеческой природы сам способ нашего употребления языка).

Один из основополагающих тезисов настоящей книги состоит в том, что естественный язык — это прежде всего средство воздействия, а коммуникация — это специфический видовой метод заставить другого сделать что-то определенное. Кто будет рассматривать язык в этом аспекте, тот сразу должен будет признать, что при применении этого “метода” в игру вступают стратегии, определенную роль играют успех и неуспех, важными становятся гипотезы об адекватности партнеру, цели и ситуации; все это понятия, которые непосредственно касаются динамичности средств этого “метода воздействия”.

Эта мысль развивалась, исходя из фиктивного сценария происхождения языка (гл.2.1.) — сказки об обезьяночеловеке Карлхайнце и его товарищах (которые сильно напоминают лилипутов Бруно Штекера). Эта история служит одновременно раскрытию важного аспекта сущности языка и адекватного этому аспекту объяснительного модуса. Язык понимается как “невидимо рукотворно” возникающий “обычай воздействия”, как феномен третьего вида, возникший без плана и намерений из естественного

способа поведения человека, из “естественных принципов человеческой природы”, как сказал бы Дьюголд Стюарт[332].

Тезис о том, что так называемый естественный язык является феноменом третьего вида и что объяснение посредством “невидимой руки” является единственным адекватным этому типу феноменов объяснением, — это центральный тезис данной книги. Этот тезис выходит за пределы рассмотрения языка: решительно нельзя понять того, что является культурой и что является социокультурным феноменом, если не рассматривать их как феномены третьего вида. Вот следствие этого тезиса. Языковые изменения — это специальный случай социокультурных изменений.

Я не пытаюсь связать с этим утверждением притязания на понятийную гегемонию. Я ни в коем случае не отрицаю, что язык является (и) системой знаков или символов, что это код, что это предмет попперовского третьего мира, что это гумбольдтовская энергия, что он может быть разумно рассмотрен в аспекте И-грамматики Хомского. Тезис не означает: язык не это, а то. Вопрос о том, чем “собственно” является язык, в основе своей наивен. Дело не в том, чем “является” язык, а в том, как его следует рассматривать, если иметь в виду определенную постановку вопроса. Тем самым тезис означает: если интерес исследователя привлекает факт языковых изменений и его объяснение, то следует рассматривать язык в аспекте феномена третьего вида.

Знание истории проблемы углубляет взгляд на ее сущность. В главах с 1 по 3 проблема развивалась с многочисленными ссылками на историю науки. При этом сознательно избегалась попытка “чисто” отделить системную

[332] Stewart 1858/1971, с. 34.

часть от научно-исторической. Моей целью было написать не историографический (хотя бы и частично) трактат, а соединить проблему генезиса и изменений с изменениями и генезисом проблемы. Ведь не были решены вопросы о "жизни" и "росте" языка, которые ставились языковедами XIX века. Они просто исчезли; и произошло это благодаря тому, что в русле вызванной де Соссюром смены парадигмы стали считать более срочными другие вопросы. С концом метафорики организма в отношении языка исчез и интерес к "жизни" языка.

Таким образом, я хотел в этой книге присоединиться к вопросам, традиции которых она сохраняет: работа пытается подхватить проблемы, поставленные преимущественно немецким языкознанием (позднего) XIX века и послужившие ему отчасти ловушкой, и решить их, подкрепив идеями, сформулированными преимущественно шотландской философией языка и социальной философией XVIII века.

Главы с 1 по 3 послужили историко-системному развитию проблемы и пути ее решения; в главах с 4 по 6 последовала экспликация теории, претендующей на решение проблем: теории феноменов третьего вида и их объяснения с помощью невидимой руки.

Эта теория или ее части критиковались с различных сторон. В других работах я ответил на это[333] и не хочу повторять этого здесь. И все-таки на одном возражении я хотел бы остановиться.

Изложенная в этой работе теория претендует на то, чтобы считать объяснение невидимой руки **единственной** формой, способной раскрыть причины языковых изменений. Действительно, эти притязания кажутся необосно-

---

[333] Ср. : Keller 1984, Keller 1987.

ванно нетерпимыми и догматическими. Но они вытекают из изложенного понимания языка, а кроме того неизвестна никакая другая форма объяснения. Роджер Лэсс в книге "Об объяснении языковых изменений", с моей точки зрения, хорошо аргументировал, что представленные в языкознании объяснения при ближайшем рассмотрении только кажутся таковыми, не имеют объяснительной силы. "Предполагаемые объяснения редуцируют либо до таксономических, либо до дескриптивных схем (что, как бы ни были велики их заслуги, — а они несомненно есть (...) — конечно, не является объяснением), либо до достаточно безнадежных и логически ошибочных псевдоаргументов"[334].

Кто придерживается мнения, что для феноменов языковых изменений, за исключением небольшого количества примеров авторитарных языковых установок, таких как терминология Немецкого института стандартизации, орфографические реформы или переименования (Reichsbahn > Bundesbahn и т.п.), существует другой объяснительный модус, — тот должен показать, что аргументы Лэсса недействительны, или привести другие объяснения, показав при этом, что речь идет действительно об объяснениях.

Можно было бы представить себе и другую стратегию. Можно доказать, что выдвигаемые здесь требования к объяснению (гл. 4.2.) непомерно застыли в своей строгости; можно защищать более слабое объяснительное понятие, показав, что и оно обладает объяснительной силой, и утверждать, что и оно приемлемо для языкознания.

Кажется, такой стратегии придерживается Рудольф Виндиш. В полемике с Роджером Лэссом он защищает тип объяснения, который он называет "корректным языковед-

---

[334] Lass 1980, c. XI.

ческим объяснением”[335]. (Почему он постоянно берет “корректный” в кавычки, этого он не объясняет). “Корректное языковедческое объяснение” состоит, например, в том, чтобы назвать

“а) внутриязыковые причины (например, функционалистские экспликативные схемы, такие, как выравнивание системы, экономия, избежание омонимии и т.д.);

б) внешние причины (взаимные воздействия субстрат и суперстрат; престиж социально уважаемой группы и т.д.)”[336].

В качестве примера Виндиш выбирает (среди других) известный случай так называемого бегства от омонимов в гасконском: в гасконском петух называется *bigey* (что происходит от лат. *vicarius*), а не *gat*, как следовало бы ожидать соответственно звуковым преобразованиям от латинского к гасконскому; потому что — так звучит “объяснение” — звуковые преобразования от латинского к гасконскому таковы, что в гасконском звучание *gat* должны были получить как лат. *cattus* ‘кошка’, так и *gallus* ‘петух’.

Это “классический” образец объяснения “бегства от омонимов из-за конфликта омонимов”, к которому применимы все возражения, приведенные в главе 4.3. относительно омонимов слова *englisch*, и все приведенные Роджером Лэссом в его главе 3.5.

Виндиш комментирует образец “‘корректного’ объяснения” следующим образом:

“Конечно, “корректные” объяснения (которые можно узнать только — задним числом — по их убедительности) страдают одним основательным недостатком: в действительности они применимы только частично или, если

[335] Windisch 1988, c. 114, 116.
[336] Windisch 1988, c. 116.

сформулировать парадоксально, применимы только там, где они подходят, так например, в качестве объяснения (или объяснительного "принципа" или "тезиса") омонимии (которой следует избежать), в случае обусловленного звуковыми законами совпадения лат. *gallus* и *cattus* в гасконском *gat* "кошка" (действительно так!) (...) Безусловно, не везде, где еще наступило бы такое — теоретически возможное — звуковое изменение, следовало бы ожидать и соответствующую "обременительную омофонию": но в специальном случае южно-западно-французского ее следует рассматривать как "корректное" объяснение"[337].

Не останавливаясь на проблемах отдельных деталей этого отрывка текста, следует сказать следующее о структуре аргумента.

Так называемые объяснения, которые, как в святой простоте формулирует Виндиш, "применимы только там, где они подходят", просто не называют "объяснениями". Виндишу следовало бы взять в кавычки не слово *корректный*, а слово *объяснение.* Ведь сомнительна не столько корректность описания, сколько его объяснительная сила, его статус объяснения. Поскольку так называемый "объяснительный 'принцип'" (и здесь мне не ясна функция кавычек): "обременительная омофония удаляется терапевтическим мероприятием замены одного из омофонов" — является аналитическим и тем самым аргументативно пустым. Поскольку омофония (омонимия) ни необходима, ни достаточна для замены одного слова другим, что признает и Виндиш, обременительная омофония по определению представлена как раз там, где состоялось бегство от омонимии. Аргумент представляет классическое ложное умо-

[337] Windisch 1988, с. 116 и далее.

заключение “после этого, значит, по причине этого (post hoc, ergo propter hoc)”. Или словами Лэсса:

“Логически это имеет форму:

(a) $p \supset q$
(b) q
(c) $\therefore p$

Это то, что являет собой пример ложного заключения в утверждении последовательности”[338].

Поскольку Виндиш преподносит свои тезисы в полемике с тезисами Лэсса, следовало бы ожидать к ним замечания, почему он не воспринимает неправильное умозаключение как помеху. Или же ему следовало бы привести аргументы, опровергающие наличие этого неправильного умозаключения. Стратегия могла быть такой: определить “обременительную омофонию” безотносительно к замене одного из омофонов словом-неомофоном с таким же значением и показать на примерах, что обременительная омофония имела или имеет место и без такого терапевтического вмешательства.

Без науки о принципах, как называл ее Герман Пауль, или космологии, как говорят (несколько напыщенно) сегодня, не могут быть поняты изменения и статика языка. “Существование структур, которыми занимается теория комплексных феноменов, можно понять только через космологию”, — совсем в духе Пауля пишет фон Хайек[339]. “Прояснение условий исторического становления поставляет наряду с общей логикой исторического становления еще и основы теории методов (...)”[340].

[338] Lass 1980, с. 78 и далее.
[339] Von Hayek 1969, с. 154.
[340] Paul 1880/1920, с. 3.

Из этого, естественно, не следует, что такая "космология" объясняет все и вся. Принять это означает перепутать необходимые условия с достаточными. Каким образом, например, *p, t, k* затронуты передвижением согласных, "в то время как *l, r, m* и *n* остаются нетронутыми"? — спрашивал Петер Айер[341], вероятно, полагая, что если я не смогу дать этому объяснения, то это будет аргументом против моей теории. Да, я этого не знаю, и очень сомневаюсь, будут ли знать об этом когда-либо. Чтобы быть объяснимым, языковой исторический факт должен находиться на приемлемом расстоянии от объяснительной базы. Что это означает, я хочу показать на одном примере исчисления Ганса-Юргена Херингера.

Рассмотрим высказывание, которое можно найти в истории любого языка: "*p > f*". Оно должно означать: "Звуку *p* в индоевропейском соответствует звук *f* в германских языках" или "индоевропейское *p* превратилось в германских языках в *f* ", — факт, составляющий часть так называемого германского передвижения согласных. Объяснение этого факта состояло бы в том, чтобы показать, какие правила при каких условиях привели к таким способам действия, следствием которых явилось то, что "отныне" звук *f* артикулировался там, где "до того" артикулировался звук *p*. Херингер в "мыслительном эксперименте" просчитывает, что является реальной "эмпирической" базой такого высказывания: "Такие утверждения, выглядящие наивными, делаются относительно чрезвычайно сложного процесса, поэтому вся историография языка страдает серьезной макроскопией"[342]. Рассмотрим (вместе с Херингером)

[341] Eyer 1982, с. 74.
[342] Heringer 1988, с. 3.

эту макроскопию поближе[343]. Предположим, это развитие занимает промежуток времени приблизительно в 200 лет; предположим далее, что в процессе этого развития участвовали около 100 миллионов германцев, которые в среднем общались с помощью говорения один час, произнося (в среднем) 2000 слов длиной в 5 звуков. Это означает, что 10^8 говорящих произвели в течение 7×10^4 дней 10^4 звуковых событий; это составляет 7×10^{16} воспроизведений звука. Если мы оставим без внимания, что восприятие звуковых изменений адресатом играет по меньшей мере такую же важную роль, как и вклад говорящего, то мы с помощью этой ошеломляющей калькуляции придем к заключению, что “$p > f$” означает приблизительно следующее: Там, где в момент времени t_1 артикулировался звук *p*, позднее в 70.000.000.000.000.000 звуковых событий артикулировался звук *f*. “Я надеюсь, что этот *мыслительный эксперимент* может убедить нас, что утверждения типа ($p > f$) относятся к очень специфическому виду эмпиризма”[344].

Чему мы можем научиться из этой игры в подсчет? Существуют законные описательные историографические утверждения, которые совсем не могут претендовать на то, чтобы их пытались объяснить. Объяснимость историко-языковых феноменов предполагает приемлемость масштабов. С уровнем языковых действий разумно коррелирует только уровень структуры.

Кто хочет знать, как амеба развилась в слона, должен довольствоваться очень общим ответом, так называемым объяснением в принципе. Но и то, что охватывается сферой действия объяснения, во многом необъяснимо, потому что у нас нет необходимых для этого знаний, а их, воз-

[343] Heringer 1988, с. 3 и далее.
[344] Heringer 1988, с. 5.

можно, больше уже нельзя получить. Поскольку история языка как наука до сих пор понималась и претендовала на то, чтобы быть по существу описательной, а не объяснительной наукой, то для объяснительного описания истории языка нет и необходимых готовых данных.

Но для исторической теории подходит то, что Ноэм Хомский требовал еще 2 года назад для теории грамматики: “Хотя во многих случаях вовсе непросто достичь даже описательной адекватности, для продуктивного развития теории языка нельзя обойтись без постановки намного более высоких целей”[345]. Целью является адекватность объяснения.

Теория истории любого языка адекватно объяснительна в той мере, в какой ей удается привести в соответствие адекватно описанные реконструированные языковые данности с типами языковых действий, следствиями которых они являются, то есть представить их как необходимые ненамеренные следствия индивидуальных действий, которые произведены при определенных экологических условиях по определенным правилам действий.

Я надеюсь, мне удалось показать, что в принципе это требование осуществимо, несмотря на то, что во многих случаях ему противостоит капитал наших утраченных знаний.

[345] Chomsky 1965/1969, с. 40.

Библиографический список

Aitchison, Jean (1987): The Language Lifegame. In: Willem Koopman et al. (Hrsg.): Explanation and Liguistic Change. Amsterdam. 11-32.

Aitchison, Jean (1991): Language Change: Process or Decay? Cambridge.

Akademie der Wissenschaften der DDR / Akademie der Wissenschaften in Göttingen /Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Hrsg.) (1985): Goethe-Wörterbuch. 2. Band, 8. Lieferung. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz.

Alarcos Llorach, Emilio (1968): Fonología española. Cuarta edición aumentada y revisada. Madrid.

Albert, Hans (1991): Methodologischer Individualismus und historische Analyse. In: Acham, K./Schultze, W. (Hrsg.): Theorie der Geschichte. Band 6: Teil und Ganzes. München. 219-232.

Arens, Hans (1969): Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart. 2. durchgesehene und stark erweiterte Auflage. Freiburg, München.

Ayren, Armin (1986): Wenn wir hätten, was wir haben. Der gestörte Konjunktiv. In: Hans-Martin Gauger (Hrsg.): Sprach-Störungen. Beiträge zur Sprachkritik. München, Wien. 110-124.

Bailey, Charles-James N. (1980): Old and New Views on Language History and Language Relationships. In: Lüdtke, Helmut (Hrsg.): Kommunikationstheoretische Grundlagen des Sprachwandels. Berlin, New York. 139-181.

Bates, Elizabeth (1984): Bioprograms and the Innateness Hypothesis. In: The Behaviorial and Brain Sciences. 7.2. 188-190.

Beeh, Volker (1981): Sprache und Spracherlernung. Unter mathematisch-biologischer Perspektive. Berlin, New-York.

Boretzky, Norbert (1981): Das Indogermanische Sprachwandelmodell und Wandel in exotischen Sprachen. In: Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. Bd. 95, Heft 1. 49-80.

Cavalli-Sforza, Luigi (1971): Similarities and Dissimilarities of sociocultural and biological Evolution. In: F.R. Hodson et al. (Hrsg.): Mathematics in Archeologiclal and Historical Sciences. Edinburgh. 535-541.

Cherubim, Dieter (1983): Trampelpfad zum Sprachwandel. In: Zeitschrift für Germanistische Linguistik 11. 65-71.

Chomsky, Noam (1965/69): Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge/Mass. (Dt.: Aspekte einer Syntaxtheorie. Frankfurt a.M.)

Chomsky, Noam (1980/81): Rules and Representations. New York. (Dt.: Regeln und Repräsentation. Frankfurt a.M.)

Chomsky, Noam (1981): Lectures on Government and Binding. Dordrecht.

Chomsky, Noam (1982): The Generative Enterprise: a Discussion with Riny Huybregts and Henk van Riemdsdijk. Dordrecht.

Chomsky, Noam (1986): Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use. New York.

Cloak, F. T. Jr. (1975): Is Cultural Ethologie Possible? In: Human Ecology Vol. 3, No. 3. 161-182.

Corning, Peter E. (1983): The Synergism Hypothesis: A Theory of Progressive Evolution. New York.

Coseriu, Eugenio (1958/74): Sincronía, diacronía e historia. El problema del cambio lingüístico. Montevideo. (Dt.: Synchronie, Diachronie und Geschichte. Das Problem des Sprachwandels. München.)

Coseriu, Eugenio (1980): Vom Primat der Geschichte. In: Sprachwissenschaft 5, Heft 2. 125-145.

Coseriu, Eugenio (1983): Linguistic Change Does not Exist. In: Linguistica Nuova ed Antica. Rivista di Linguistica Classica Medioevale e Moderna. Anno I. 51-63.

Cropsey, Joseph (1979): The Invisible Hand: Moral and Political Considerations. In: Gerald P. O'Driscoll Jr. (Hrsg.): Adam Smith and Modern Political Economy. Ames/Iowa. 165-176.

Darwin, Charles (1871/93): Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl. Halle a.d.S. (Orig.: The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. London.)

Dascal, Marcello (1985): The Relevance of Misunderstanding. In: Thomas T. Ballmer und Roland Posner (Hrsg.): Nach-Chomskysche Linguistik. Berlin, New York. 194-210.

Dauses, August (1990): Theorie des Spachwandels. Eine kritische Übersicht. Stuttgart.

Davies, Paul C. (1987/88): Prinzip Chaos. München. (Orig.: The Cosmic Blueprint. London, Melbourne, Toronto, Auckland.)

Dawkins, Richard (1976/78): Das egoistische Gen. Berlin. (Orig.: The Selfish Gene. Oxford.)

Dawkins, Richard (1986/87): Der blinde Uhrmacher. Ein neues Plädoyer für den Darwinismus. München. (Orig.: The Blind Watchmaker. New York, London.)

Dobrick, Martin (1985): Gegenseitiges (Miß-)Verstehen in der dyadischen Kommunikation. Münster.

Dobzhansky, Theodosius (1962/65): Dynamik der menschlichen Evolution. Gene und Umwelt. Hamburg. (Orig.: Mankind Evolving. New Haven / Connecticut.)

Dressler, Wolfgang U. / Mayerthaler, Willi / Panagl, Oswald / Wurzel, Wolfgang U. (1987): Leitmotifs in Natural Morphology. Amsterdam, Philadelphia.

Eyer, Peter (1983): "... und trampelt durch die Saaten." In: Zeitschrift für Germanistische Linguistik 11. 72-77.

Fanselow, Gisbert / Felix, Sascha (1987): Spachtheorie. Eine Einführung in die generative Grammatik. Bd. 1. Tübingen.

Ferguson, Adam (1767/1904): An Essay on the History of Civil Society. Edinburgh. (Dt.: Abhandlung über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Aus dem engl. Original, u. zwar der Ausgabe letzter Hand (7. Aufl. 1814) ins Deutsche übertragen von Valentine Dorn. Sammlung sozialwissenschaftlicher Meister. 2. Bändhen. Jena.)

Fleischer, Wolfgang (1971): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 2. Aufl. Tübingen.

Frege, Gottlob (1966): Über die Zahlen des Herrn H. Schubert. In: Ders.: Logische Untersuchungen. Hrsg. von Günther Patzig. Göttingen. 113-138.

Frei, Henri (1929): La Grammaire des Fautes. Paris, Genève, Leipzig.

Garaudy, Roger (1973): Die Alternative. Wien, München, Zürich.

Gerard, R.W. / Kluckhohn, Clyde / Rapoport, Anatol (1956): Biological and Cultural Evolution. Some Analogies and Explorations. In: Behaviorial Science. Vol. 1. 6-34.

Goethe, Johann Wolfgang von (1908): Werke, 45. Bd. Weimar.

Gombrich, Ernst H. (1979/83): Die Krise der Kulturgeschichte. Gedanken zum Wertproblem in den Geisteswissenschaften. 2. Aufl. Stuttgart. (Orig.: Ideals and Idols. Oxford.)

Graham, Alma (1975): The Making of a Nonsexist Dictionary. In: Barrie Thorne / Nancy Hemley (Hrsg.): Language and Sex. Differance and Dominance. Rowley / Mass. 57-63.

Grewendorf, Günther / Hamm, Fritz / Sternefeld, Wolfgang (1987): Sprachliches Wissen. Eine Einführung in moderne Theorien der grammatischen Beschreibung. Frankfurt a.M.

Grice, Herbert Paul (1968/79): Utterer's Meaning, Sentence-Meaning, and Word-Meaning. In: Foundations of Language 4. 1-18. (Dt.: Sprecher-Bedeutung, Satz-Bedeutung, Wort-Bedeutung. In: G. Meggle (Hrsg.): Handlung, Kommunikation, Bedeutung. Frankfurt a.M. 85-111.)

Grice, Herbert Paul (1969/79): Utterer's Meaning and Intentions. In: The Philosophical Review 78. 147-177. (Dt.: Sprecher-Bedeutung und Intentionen. In: G. Meggle (Hrsg.): Handlung, Kommunikation, Bedeutung. Frankfurt a.M. 16-51.)

Grice, Herbert Paul (1975/79): Logic and Conversation. In: P. Cole / J. Morgan (Hrsg.): Syntax and Semantics. Vol. 3. New York, San Fracisco, London. 41-58. (Dt.: Logik und Konversation. In: G. Meggle (Hrsg.): Handlung, Kommunikation, Bedeutung. Frankfurt a.M. 243-265.)

Grimm, Jacob (1968): Vorreden zur deutschen Grammatik von 1819 und 1822. Neudruck. Darmstadt.

Grimm, Jakob und Grimm, Wilhelm (1862): Deutsches Wörterbuch, Band 3. Leipzig.

Haakonssen, Knud (1981): The Science of a Legislator. The Jurisprudence of Davide Hume and Adam Smith. Cambridge.

Hayek, Friedrich August von (1956): Über den "Sinn" sozialer Institutionen. In: Schweizer Monatshefte. Bd. 36. Zürich. 512-524.

Hayek, Friedrich August von (1967a): The Results of Human Action but not of Human Design. In: Friedrich August von Hayek: Studies in Philosophy, Politics and Economics. Chicago and Toronto. 96-105.

Hayek, Friedrich August von (1967b): Notes of the Evolutions of Systems of Conduct. In: Friedrich August von Hayek: Studies in Philosophy, Politics and Economics. Chicago and Toronto. 66-81.

Hayek, Friedrich August von (1969): Freiburger Studien. Gesammelte Aufsätze. Tübingen. Darin: Die Ergebnisse menschlichen Handelns aber nicht menschlichen Entwurfs. 97-107; und: Dr. Bernard Mandeville. 126-143; und: Bemerkungen über die Entwicklung von Systemen und Verhaltensregeln. 145-160.

Hayek, Friedrich August von (1983): Die überschätzte Vernunft. In: Rupert J. Riedl / Franz Kreuzer (Hrsg.): Evolution und Menschenbild. Hamburg. 164-192.

Hayek, Friedrich August von (1988): The Fatal Conceit. The Errors of Socialism. (The collected works of Friedrich August Hayek) Ed. by W.W. Bartley, III. London, New York.

Hempel, Carl G. (1965): Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science. New York.

Heringer Hans J. (1985): Not by Nature nor by Intention: The Normative Power of Language Signs. In: Thomas T. Ballmer (Hrsg): Linguistic Dynamics. Berlin, New York. 251-275.

Heringer Hans J. (1988): An Axiomatics of Language Evolution. Augsburg. Masch. Mskr.

Hildebrand-Nilshon, Martin (1980): Die Entwicklung der Sprache. Phylogenese und Ontogenese. Frankfurt a.M., New York.

Hockett, Charles F. / Altmann. S. (1968): A Note on Design Features. In: T.A. Sebeok (ed.): Animal Communication. Bloomington, Ind. 61-72.

Humboldt, Wilhelm von (1836/1907): Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. Gesammelte Schriften, Bd. VII. Berlin.

Hurford, James (1987): Language and Number. The Emergence of a Cognitive System. Oxford.

Huxley, Julian (1963): Evolution. The Modern Synthesis. 2. Aufl. London.

Itkonen, Esa (1991): What is methodology (and History) of linguistics good for, epistemologially speaking? In: Historie Epistémologie Language 13/I. 51-75.

Jäger, Ludwig (1976): F. de Saussures historisch-hermeneutische Idee der Sprache. Ein Plädoyer für die Rekonstruktion des Saussureschen Denkens in seiner authentischen Gestalt. In: Linguistik und Didaktik 27. 210-224.

Jäger, Ludwig (1984): Das Verhältnis von Synchronie und Diachronie in der Sprachgeschichtsforschung. In: Werner Besch / Oskar Reichmann / Stefan Sonderegger (Hrsg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Berlin, New York.

Kant, Immanuel (1974): Kritik der Urteilskraft. Hrsg. von Karl Vorländer (Nachdruck der 6. Auflage von 1924). Hamburg.

Keller, Rudi (1974): Wahrheit und Kollektives Wissen. Zum Begriff der Präsupposition. Düsseldorf.

Keller, Rudi (1977a): Verstehen wir, was ein Sprecher meint, oder was ein Ausdruck bedeutet? Zu einer Hermeneutik des Handelns. In: K. Baumgärtner (Hrsg.): Sprachliches Handeln. Heidelberg. 1-27.

Keller, Rudi (1977b): Kollukutionäre Akte. In: Germanistische Linguistik 8. 1-50.

Keller, Rudi (1983): Zur Wissenschaftsgeschichte einer evolutionären Theorie des sprachlichen Wandels. In: Thomas T. Cramer (Hrsg.): Literatur und Sprache im historischen Prozeß. Bd. 2: Sprache. Tübingen. 25-44.

Keller, Rudi (1984): Bemerkungen zur Theorie des sprachlichen Wandels (Eine Replik auf Dieter Cherubims und Peter Eyers Diskussionsbeiträge). In: Zeitschrift für Germanistische Linguistik 12, 1. 63-81.

Keller, Rudi (1987): Der evolutionäre Sprachbegriff. In: Wimmer, R. (Hrsg.): Sprachtheorie. Der Sprachbegriff in Wissenschaft und Alltag. Jahrbuch 1986 des Instituts für deutsche Sprache. Düsseldorf. 99-120.

Keller, Rudi (1989): Erklärung und Prognose von Sprachwandel. In: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 42, 3. 383-396.

Kittsteiner, Heinz-Dieter (1980): Naturabsicht und Unsichtbare Hand. Zur Kritik des geschichtsphilosophischen Denkens. Frankfurt, Berlin, Wien.

Koch, Hannsjoachim W. (1973): Der Sozialdarwinismus: seine Genese und sein Einfluß auf das imperialistische Denken. München.

Köhler, Reinhard /Altmann, Gabriel (1986): Synergetische Aspekte der Linguistik. In: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 5, 2. 253-265.

Koopman, Willem / van der Leek, Frederike / Fischer, Olga /Eaten, Roger (eds.) (1987): Explanation and Linguistic Change. Amsterdam.

Lass, Roger (1980): On Explaining Language Change. Cambridge.

Lass, Roger (1984): Language and Time. A Historian's View. Inaugural Lecture. University of Cape Town.

Lass, Roger (1987): Language, Speakers, History and Drift. In: Willem Coopman et al. (Hrsg.): Explanation and Linguistic Change. Amsterdam. 151-176.

Levin, Jules F. (1988): Computer Modelling Language Change. Masch. Mskr. (UCR, Riverside, California.)

Lewis, David (1969/75): Convention. A Philosophical Study. Cambridge / Mass. (Dt.: Konventionen. Eine sprachphilosophische Abhandlung. Berlin, New York.)

Lorenz, Konrad (1965): Evolution and Modification of Behavior. A Critical Examination of the Concepts of the “learned” and “innate” Elements of Behavior. Chicago, London.

Lorenz, Konrad (1973): Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte des menschlichen Erkennens. 2. Aufl. München, Zürich.

Lüdtke, Helmut (1980): Sprachwandel als unversales Phänomen. In: Ders. (Hrsg.): Kommunikationstheoretische Grundlagen des Sprachwandels. Berlin, New York. 1-19.

Lüdtke, Helmut (1986): Esquisse d’une Théorie du Chagement Langagier. In: La Linguistique 22, fasc. 1. 3-46.

Lyons, John (1968): Introduction to Theorerical Linguistics. Cambridge.

Lyons, John (1977/80): Semantik. Band I. München. (Orig.: Semantics. Cambridge.)

Mandeville, Bernard de (1980): Die Bienenfabel. Frankfurt a.M.

Mandeville, Bernard de (1732/1924): The Fable of Bees: or, Private Vices, Public Benefits. With a Commentary Critical, Historical and Explanatory by F.B. Kaye. Oxford, 2 Vols.

Martinet, André (1960/71): Eléments de linguistique générale. Paris. (Dt.: Grundzüge der allgemeinen Sprachwissenschaft. Stuttgart.)

Marx, Karl / Engels, Friedrich (1967): Werke, Bd. 37. Hrsg. v. Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Berlin.

Mauthner, Fritz (1912/82): Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Bd. 2: Zur Sprachwissenschaft. Stuttgart. (Nachdruck der ungek. Ausg. Frankfurt a.M., Berlin, Wien.)

Mayerthaler, Willi (1981): Morphologische Natürlichkeit. Wiesbaden.

Maynard Smith, John (1972): On Evolution. Edinburgh.

Medewar, Peter B. (1959/62): Die Zukunft des Menschen. Frankfurt a.M. (Orig.: The Future of Man. London.)

Meggle, Georg (Hrsg.) (1979): Handlung, Kommunikation, Bedeutung. Frankfurt a.M.

Menger, Carl (1883/1969): Gesammelte Werke. Hrsg. v. Friedrich August von Hayek. Bd. II: Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften und der politischen Ökonomie insbesondere. Tübingen.

Monod, Jacques (1969): From Biologie to Ethics. Occasional Papers of the Salk Institute of Biology, no 1. La Jolla.

Müller, Max (1892): Die Wissenschaft der Sprache. Vom Verfasser autorisierte deutsche Ausgabe besorgt durch Dr. R. Fick und Dr. W. Wischmann. Bd. 1. 15. Aufl. Leipzig. (1. Aufl. 1862)

Münstermann, Paul (1960): Mandevilles Bienenfabel. Jur. Diss. Köln.

Nickl, Hans (1980): 10 Minuten vor dem Centre Pompidou. In: Bauwelt. Heft 40/41.

Nozick, Robert (1976/o.J.): Anarchie, Staat, Utopia. München. (Orig.: Anarchy, State and Utopia. New York.)

Osche, Günther (1987): Die Sonderstellung des Menschen in biologischer Sicht: Biologische und kulturelle Evolution. In: Rolf Siewing (Hrsg.): Evolution. Bedingungen — Resultate — Konsequenzen. Stuttgart, New York.

Paul, Hermann (1880/1920): Prinzipien der Sprachgeschichte. 5. Aufl. Halle a.d.S.

Paul, Hermann (1910): Über Völkerpsychologie. Rede anläßl. des Stiftungsfests der Universität München am 25. Juni 1910. In: Süddeutsche Monatshefte 2. 363-373.

Peardon, Thomas (1966): The Transition in English Historical Writing 1760-1830. New York.

Popper, Karl R. / Eccles, John C. (1977/82): Das Ich und sein Gehirn. München, Zürich. (Orig.: The Self and its Brain — An Argument for Interactionism. Heidelberg, Berlin, London, New York.)

Rádl, Emil (1909): Geschichte der Biologischen Theorien in der Neuzeit. Bd. 2: Geschichte der Entwicklungstheorien in der Biologie des 19. Jahrhunderts. Leipzig.

Radnitzky, Gerard (1983): Die Evolution der Erkenntnisfähigkeit, des Wissens und der Institutionen. In: R. Riedl und F. Kreuzer (Hrsg.): Evolution und Menschenbild. Hamburg. 82-120.

Rehbein, Jochen (1977): Komplexes Handeln. Elemente zur Handlungstheorie der Sprache. Stuttgart.

Ronneberger-Sibold, Elke (1980): Sprachverwendung — Sprachsystem, Ökonomie und Wandel. Tübingen.

Sapir, Edward (1921/61): Die Sprache. Eine Einführung in das Wesen der Sprache. München. (Orig.: Language. An Introduction to Study of Speech. New York.)

Saussure, Ferdinand de (1916/67): Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. 2. Aufl. Berlin. (Orig.: Cours de Liguistique générale. Lausanne, Paris.)

Scheerer, Thomas M. (1980): Ferdinand de Saussure. Rezeption und Kritik. Darmstadt.

Schelling, Thomas (1969): Models of Segregation. In: American Economic Review 54. 488-493.

Scherer, Wilhelm (1874): Vorträge und Aufsätze zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland und Österreich. Berlin.

Schleicher, August (1863): Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft. Weimar.

Schleicher, August (1868): Eine Fabel in indogermanischer Ursprache. In: Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung auf dem Gebiete der arischen, keltischen und slawischen Sprachen 5. 206-208.

Silbar, M. (1987): Cellular Automata. In: Analog Sept. 1987. 68-80.

Slote, Michael A. (1989): Beyond Optimizing. Cambridge. (Mass.).

Smith, Adam (1776/1920): Eine Untersuchung über Natur und Wesen des Volkswohlstandes. Bd. 2. In: H. Waentig (Hrsg.): Sammlung sozial-

wissenschaftlicher Meister. Bd. 12. Jena. (Orig.: Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Reprint 1812. London.)

Spencer, Herbert (1876): System der synthetischen Philosophie. II. Band. Principien der Biologie, I. Bd. Autorisierte dt. Ausgabe. Nach der 2. engl. Auflage übersetzt von B. Vetter. Stuttgart. (Orig.: A System of Synthetic Philosophy. The Principles of Biologie.)

Stam, James H. (1976): Inquiries into the Origin of Language. The Fate of a Question. New York, Hagerstow, San Francisco, London.

Stampe, David (1969): The Acquisition of Phonetic Representations. In: Papers from the 5th Regional Meeting Chicago Linguistic Society (CLS 5), 433-444.

Stein, Dieter (1988): Zur Philosophie des Natürlichkeitsansatzes im Bereich der Syntax. In: ZPSK 41, 4. 471-475.

Stein, Dieter (1990): The Semantics of Syntactic Change. Berlin, New York.

Stewart, Dugald (1858/1971): The Collected Works of Dugald Stewart, ESQ., F.R.SS. Hrsg. von Sir William Hamilton, Bart., Vol. X. Boston / Mass. (Republ. Farnborough U.K., 1971.)

Stolz, Thomas (1990): Zur Ideengeschichte der Natürlichkeitstheorie: John Wilkins — ein unbekannter Vorläufer? In: A. Bassarak et al. (Hrsg.): Wurzel(n) der Natürlichkeit. Studien zur Morphologie und Phonologie IV. Linguistische Studien, Reihe A, Arbeitsberichte 2081. Berlin (Zentralinstitut für Sprachwissenschaft). 133-144.

Strawson, Peter F. (1971/74): Logik und Linguistik. Darin: Bedeutung und Wahrheit. München. 30-55. (Orig.: Logico-Linguistic Papers. London.)

Strecker, Bruno (1987): Strategien des kommunikativen Handelns: Zur Grundlegung einer Grammatik der Kommunikation. Düsseldorf.

Srehlow, Carl (1907-1915): Die Aranda- und Loritjastämme in Zentalaustralien. Frankfurt.

Süßmilch, Johann Peter (1766): Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung nicht vom Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe. Berlin.

Toulmin, Stephen (1972/78): Human Understanding. Vol. I: The Collective Use and Evolution of Concepts. Princeton, New Jersey. (Dt.: Kritik der kollektiven Vernunft. Frankfurt.)

Ullmann-Margalit, Edna (1978): Invisible-Hand Explanations. In: Synthese 39, No. 2. 263-291.

Vanberg, Viktor (1982): Markt und Organisation: Individualistische Sozialtheorie und das Problem kooperativen Handelns. Tübingen.

Vanberg, Viktor (1984): 'Unsichtbare-Hand Erklärung' und soziale Normen. In: H. Todt (Hrsg.): Normengeleitetes Verhalten in den Sozialwissenschaften. Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Neue Folge Bd. 141. Berlin. 115-146.

Watzlawick, Paul / Beavin, Janet H. / Jackson, Don (1967/72): Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. 3. Aufl. Bern. (Orig.: Pragmatics of Human Communication. A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxies. New York.)

Weisgerber, Leo (1971): Von den Kräften der deutschen Sprache. Bd. I: Grundzüge der inhaltbezogenen Grammatik. 4. Aufl. Düsseldorf.

Whitehead, Alfred N. (1933): Adventures of Ideas. Cambridge.

Whitney, William D. (1873): Schleicher and the physical Theory of Language. In: Oriental and Linguistic Studies. New York.

Whitney, William D. (1867/74): Die Sprachwissenschaft. W.D. Whitney's Vorlesungen über die Prinzipien der vergleichenden Sprachforschung. Bearb. v. J. Jolly. München. (Orig.: Language and the Study of Language: twelve Lectures of the Principles of Linguistic Science. London.)

Whitney, William D. (1875/76): Leben und Wachsthum der Sprache. Übers. v. A. Leskien. Leipzig. (Orig.: The Life and the Growth of Language. London.)

Wildgen, Wolfgang (1985): Dynamische Sprach- und Weltauffassungen (in ihrer Entwickung von der Antike bis zur Gegenwart). Bremen. (Presse und Informationsamt der Universität.)

Wilson, Edward O. (1975): Sociobiology — The New Synthesis. Cambridge / Mass., London.

Wimmer, Rainer (1983): Metaphorik in der Sprachgeschichtsschreibung. In: Thomas Cramer (Hrsg.): Literatur und Sprache im historischen Prozeß. Vorträge des Deutschen Germanistentages Aachen 1982. Tübingen.

Windisch, Rudolf (1988): Voraussagbarkeit des Sprachwandels. In: Harald Thun (Hrsg.): Energeia und Ergon. Bd. II: Das sprachtheoretische Denken Eugenio Coserius in der Diskussion (1). Tübingen. 109-120.

Windisch, Rudolf (1988): Zum Sprachwandel. Von den Junggrammatikern zu Labov. Frankfurt (=Studia romanica et linguistica 21).

Wittgenstein, Ludwig (1960): Philosophische Untersuchungen. In: Schriften 1. Frankfurt a.M.

Wunderlich, Dieter (1976): Studien zur Sprechakttheorie. Frankfurt a.M.

Wurzel, Wolfgang-Ullrich (1984): Flexionsmorphologie und Natürlichkeit. Berlin.

Wurzel, Wolfgang-Ullrich (1988): Zur Erklärbarkeit sprachlichen Wandels. In: ZPSK 41, 4. 488-510.

Wurzel, Wolfgang-Ullrich (1992): The Structural Heritage in Natural Morphology. In: Hans-Heinrich Lieb (ed.): Prospects for a New Structuralism. Amsterdam and Philadelphia. 225-241.

Рецензии на первое издание

Abraham, Werner (1991): Besprechung. In: *Germanistik* 32, 3/4. 628-629.

Adamska-Salaciak, Arleta (1991): Language Change as a Phenomenon of the Third Kind. In: *Folia Linguistica Historica* XII/1-2. 159-180.

Albrecht, Erhard (1991): Besprechung. In: *Deutsche Literaturzeitung*, Jahrgang 112, Heft 1-2. 18-20.

Anttila, Raimo (1992): Besprechung. In: *Studies in Language* 16,1. 213-218.

Bühler, Axel (1990): Besprechung. In: *Journal for General Philosophy of Science* 22. 182-185.

Eggers, Eckhard (1993): Besprechung. In: *Indogermanische Forschungen* 98. Band. 304-307.

Greule, Albrecht (1991): Besprechung. In: *Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik,* LVIII. Jahrgang, Heft 3. 319-322.

Hermanns, Fritz (1991): Wie sich Sprachen wandeln. In: *Sprachreport* 4. 7-9.

Latour, Bernd (1991): Ein “Phänomen der dritten Art”. In: *DAAD Letter* 1. März. I-II.

Mühlhäusler, Peter (1991): Besprechung. In: *Lingua* 84. 75-78.

Nyman, Martti (1994): Language in the Guidance of the Invisible Hand. In: *Diachronica* Vol. II, № 2 (с продолжением).

Stolz, Thomas (1991): Besprechung. In: *ZPSK* 44, 4. 550-554.

Tinnefeld, Thomas (1993): Besprechung. In: *Fremdsprachen und Hochschule* 38/39. 302-309.

Указатель имен

Предметный указатель

Руди Келлер

Языковые изменения:
о невидимой руке в языке

Перевод с немецкого и вступительная статья
О.А. Костровой

Перевод выполнен по изданию: Rudi Keller. Sprachwandel: von der unsichtbaren Hand in der Sprache. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage 1994. A. Francke Verlag Tübingen und Basel

Главный редактор Л.И. Бордунова
Редактор О.И. Пичугина-Сорокина
Компьютерная верстка А.В. Кострова

Лицензия Министерства печати России ЛР № 020066

Подписано к печати 10.04.1997 г. Формат 60 х 84 1/16
Объем 19,75 п.л.
Тираж 5000 экз. Бумага типографская. Печать оперативная. Заказ №

Издательство Самарского государственного
педагогического университета:
443099, Самара, ул. М. Горького, 65/67.

АО «СамВен»: 443043, Самара, ул. Венцека, 60.